

Иван ДРОЗДОВ

Санкт-Петербург
2002

84.3Р7
Д75

Автор выражает сердечную признательность читателям, которые внесли посильную лепту в издание этой книги:

Архимандриту Адриану (Кирееву),
Игумену Мефодию,
Абдулхаковой Римме Закифовне,
Алексееву Евгению Евгеньевичу,
Георгиевским Ларисе Сергеевне и Анатолию Борисовичу,
Дороховой Зое Васильевне,
Жданову Владимиру Георгиевичу,
Зориным Юлии и Александру,
Ивановым Лидии Ивановне и Олегу Сергеевичу,
Карпачёву Александру Александровичу,
Карпович Елене Ивановне,
Лукашевой Елене Викторовне,
Люленовым Елене Анатольевне и Петру Петровичу,
Модиным Вере Ивановне и Валерию Борисовичу,
Серовому Николаю Федоровичу,
Стамову Василию Ивановичу,
Трезоруковым Наталье Рубеновне
и Владимиру Пантелеймоновичу,
Цыганкову Владимиру Анатольевичу,
Шушарину Ананию Николаевичу.

СУДЬБА ЧЕМПИОНА

Роман

Победивший других — силен,
победивший себя — могуч.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На холмистом берегу Финского залива в сосновом бору Саша Мартынов собирал голубику. Ягода эта, похожая на запутавшиеся в траве звездочки, нравилась Саше не столько своим кисло-сладким вкусом, сколько неброской красотой, прячущейся от

людского глаза под синеватыми жесткими листочками. Саша был художник,— по природе, по призванию, по складу ума и сердца. И хотя он работал слесарем на заводе медицинского оборудования и любил свое тонкое, почти ювелирное дело и ни за что на свете не променял бы его ни на какое другое, он все-таки считал, что родился художником и втайне жалел, что жизнь его сложилась в стороне от искусства. Он был уверен: художественное чутье помогло ему в двадцать два года овладеть профессией сборщика уникальных машин — искусственной почки и аппарата для переливания крови.

Саша собирал ягоду для мамы; голубика, как он слышал, «хороша для зрения», а у мамы с тревожной быстротой «салятся» глаза. Задумавшись, Александр не заметил, как вышел на голый, осклизлый в сырую пору камень, с которого открывался вид на залив, на Кронштадт. При хорошей видимости остров проступал из синевы едва заметными силуэтами крыш и башнями военных укреплений. Виден был Кронштадт и сейчас. Он словно поднялся над морем и парил в синеве- той дымке.

На горизонте появилась черная точка — то был корабль; он тоже казался невесомым, и белое море, поднимая его в воздух, клубилось над ним.

Вдруг эти радужные фантастические картины нарушил мужской истерически громкий голос: «Жулики! Жульё проклятое, казнокрады! Меня обвиняют в пьянстве, грозятся упечь в колонию, а сами, сами!.. Подшефный колхоз грабили. Видел я, сам видел!»

Пьяный дядя с поднятыми кулаками надвигался на женщину, а она пятилась назад, защищая лицо руками. В одно мгновение Саша оказался рядом.

— Вы пьяны! — сказал Александр, инстинктивно сжимая кулаки.

Качающийся дядя неуверенно и лениво поднял здоровенный кулак на уровень своего носа, с пристрастием оглядел сжатые до белизны в суставах пальцы и мгновенно выбросил руку вперед. Саша ойкнул, осел. Дыхание перехватило. Глотал широко открытым ртом воздух, валился на бок.

Терял сознание. Слышал, как закричала женщина: «Ты убил его, пьяный медведь! Уби-и-л!» Женщина плакала. «Добрая душа, плачет...» — подумал Саша.

И с тем все для него погрузилось во мрак.

Константин Грачёв, ударивший Александра, не на шутку струхнул и обрел устойчивость в ногах. Он уже не слышал заклинаний женщины, не помнил своего опьянения; опрометью бросился к поселку, к даче известного в Ленинграде врача. Здесь у железных ворот был вмонтирован переговорный аппарат. Нажал кнопку.

— Вы меня слышите? Слышите? Тут рядом, через дорогу... у трех сосен, умирает человек. Помогите!

— А вы кто?

Грачёв метнулся на дорогу, а там в лес, и побежал что есть мочи по песчаному склону к Финскому заливу. У самой кромки шоссе он вдруг почувствовал боль в области сердца. Сделал шаг, другой — боль усилилась. Мимо по шоссе шли машины. Грачёв поднял руку...

В клинику профессора Бурлова их доставили почти одновременно: Сашу Мартынова на машине скорой помощи, вызванной самим профессором, а Константина Грачёва на частном «жигуленке».

По состоянию больных, по характеру болезни их бы надо положить в разные палаты, но мест свободных не было, и их поместили в одной.

Первые часы были трудными для обоих, но к вечеру и тот, и другой вздохнули с облегчением — пульс и дыхание приходили к норме. Они лежали молча. Саша испытывал во всем теле слабость, будто по нему колесом проехали. Попробовал повернуться на бок — боль прострелила всю правую часть тела. Дышать глубоко не мог — каждый вздох отдавался болью. Потом они повернулись друг к другу. Саша закрыл глаза от накатившей вдруг горечи: он узнал своего обидчика. Хотел закричать, хотел потребовать убрать от него мерзкую образину, но... сил не хватило.

Грачёв же был настолько плох, что, кажется, и не признал в Мартынове своей жертвы, и взгляд его хотя и устремлялся на соседа, но в помутившихся от боли глазах не было ничего, кроме страха и растерянности.

Утром следующего дня профессор на обходе сказал Грачёву:

— Вам можно ходить.— И затем, поддерживая больного: — Инфаркта, слава Богу, не обнаружено. Спазм сосудов. Сильный, цепкий, но... обошлось без инфаркта.

Мартынова долго осматривал, слушивал.

— Вам придется лежать. Ушиб легких.

И тут же, словно спохватившись, заговорил бодрее:

— Ушиб не опасный, пройдет. Мы вас подлечим, поставим на ноги, однако пока лежать. Да, лежать.

От бдительного взгляда больного не ускользнула тревожная озабоченность, с которой профессор выходил из палаты. Провожая его взглядом, Саша хотел сказать: «Переведите меня в другую палату». И уже приподнялся на локте, приоткрыл было рот, но не хватило духа. И затем, уронив голову на подушку и обессилев, он смотрел в потолок и чувствовал, как затылок его и лоб покрываются испариной. «Это у меня от волнения, от ненужного, бессмысленного напряжения».

И тут ему пришла мысль смириться, ничего не говорить профессору. «И ему...— скосил он глаз на Грачёва.— Ему тоже — ни слова. Зачем?»

С тем он стал успокаиваться. Оставалась только боль в легких. Боль эта, думал он, надолго.

Часа через два профессор снова пришел к Саше Мартынову — на этот раз с его матерью Верой Михайловной. Женщина с виду была спокойна, она неторопливо шла за профессором, но лицо ее было бледным, в глазах затаился испуг.

— Саша!..

Склонилась над сыном.

— Ничего, мама, я малость ушибся, скоро поправлюсь.

Больше всего он сейчас хотел, чтобы мать ни о чем его не расспрашивала. С надеждой взглянул на профессора: «Я ведь поправлюсь, доктор? Вы обещаете?» — говорил его взгляд.

— Мы с вами коллеги, Александр,— кивнул ему профессор.— Вы делаете аппараты, с которыми я работаю: искусственные почки...

— Я слесарь-наладчик, собираю и отлаживаю.

— Да, да, знаю. В вашем цехе бывал, видел и вас, а с вашей матушкой Верой Михайловной, мы знакомы давно. Она ещё мастером была — и тогда мы с ней встречались.

Александр работал в цехе, где мать его была начальницей.

Профессор повернулся к Вере Михайловне:

— Сына подлечим. А в цехе скажите: сделаем все возможное. Словом, за Александра не беспокойтесь.

Как и ожидал профессор, болезнь Саши Мартынова осложнилась; ушибленное место воспалилось, держалась высокая температура.

Грачёв же наоборот: с каждым днем становился бодрее, быстро поправлялся. И когда профессор при очередном обходе велел у Сашиной койки посадить дежурную сестру, Грачёв поднялся.

— Зачем сестру? А я на что? Будьте спокойны, профессор: пригляжу за парнем.

И стал «приглядывать»: принесет и унесет еду, подаст лекарства, легко и весело, с улыбкой и присказкой выполнит тысячу других мелких услуг.

Вера Михайловна, оценив эту бескорыстную, трогательную заботу, стала присматриваться к Грачёву, заметила, что к нему-то самому никто не ходит и передач не приносит. Как-то, оставшись наедине с сыном, сказала:

— Добрый человек Константин Павлович. Он, верно, иногородний — к нему никто не ходит.

— Он наш сосед по даче. Живет в Комарово.

Вера Михайловна удивилась. Саша продолжал:

— У него есть жена... бывшая жена, и дочь, но они не приходят.

— А друзья? Работает же он где-нибудь?

Саша притянул мамину голову, в ухо прошептал:

— Уволен с работы. Будто бы за пьянство.

— Ой, сынок! Что ты говоришь! Не похож он на пьяницу, вежливый такой, обходительный.

Однако к Грачёву интерес ее пропал. Пьяница для нее все равно что умерший; человек хотя и двигался, дышал, ходил, но он заживо погиб и погребен; он опасен, страшен. Несколько таких она знала в цехе, то есть они были; все видели, как они себя медленно убивали и, убивая, причиняли боль и несчастья родным, знакомым, товарищам по работе. Их лечили подолгу, по три-четыре месяца; они выходили из лечебницы, некоторое время работали, вели себя как все люди, но потом запивали и все начиналось сначала. Так с каждым продолжалось долго, по несколько лет, пока, наконец, люди не отчаялись и от них не отступились.

— И что же он? Как жить будет? — спросила Вера Михайловна.

— Ты так говоришь о нем, будто он безнадежно болен. И вообще: если уж человек пьет, для тебя он не существует. Константин Павлович здесь в рот не берет спиртного. Он бросит пить. Я в этом убежден.

— Нет, сынок. Если уж человек пьет — пиши пропало. Я знаю, видела таких.

В этот самый момент дверь палаты отворилась и вошел Грачёв. На вытянутых руках он нес дымящуюся кастрюлю.

— Вот... Вера Михайловна! Компот для Александра сварил. Вы ему фруктов наносили, они пропадают, так я сварил. Ассорти получилось. Вы ему скажите — пусть пьет; ему витамины нужны.

— Хорошо, я согласен, но только если и вы будете со мной пить.

Саша повернулся к Вере Михайловне.

— Странный человек Константин Павлович: я его угощаю, а он не берет. Это невежливо, наконец!

— Мне ничего не надо, и вы не беспокойтесь.

Грачёв смутился, не знал, куда деть себя. Он понял: здесь, в его отсутствие, мать и сын говорили о нем. Он это прочел и во взгляде Веры Михайловны — необычно пристальном, жалостливом.

Грачёв вышел. А Вера Михайловна ещё некоторое время смотрела на дверь, думала: «Не похож он на падшего человека».

Утром в палату пришел профессор со свитой помощников и стал налаживать длинную кривую иглу для какого-то укола. Впоследствии Саша узнал: Николай Степанович применил к нему свой метод лечения легких — в больной участок ввел большую дозу антибиотиков. Облегчение наступило на следующий же день: спала температура, уменьшился кашель. К вечеру Саша захотел поесть, и Грачёв кормил его яйцами, булочкой с медом, виноградом — дарами Веры Михайловны и друзей из цеха.

Боли внутри стихли, и жар не разламывал голову, не томил, не мутил душу. Как бы заново нарождаясь, Саша жадно внимал всему, что его окружало, сердце наполнилось любовью к людям в белых халатах, к профессору.

Шевельнулось теплое чувство и к Грачёву. «Странно же это,— подумал он, отвернув лицо к стене.— Будто и не было зла к нему».

Как раз в этот момент Грачёв принес обед Александру. Подвинул стул, расставил тарелки. Подхватил Александра под руки, подтянул к подушке.

— Вот тебе ложка — ешь. Я сейчас яблоки помою.

Вспомнил Александр, как обыкновенно говорят о пьяницах: «Трезвый мухи не обидит, а как выпьет — зверь зверем». «И он такой. Сам себя не помнит».

Однако обида и сердечная боль за случившееся не оставляли Александра. Нет-нет, да и подумает: вернется ли к нему здоровье? Вдруг навсегда останется инвалидом?

В такие горькие минуты не мог он спокойно смотреть на Грачёва. Хотелось крикнуть что есть мочи: «В тюрьму тебя, мерзавца!»

Кусал от обиды губы.

Вспоминал своего дружка Витю Гурьева: красивый, черноглазый, с румяным, как у девушки, лицом. Он был робок и стеснителен, первым приходил на помощь друзьям — ангел, не человек. Но... до первой рюмки. Стоило выпить глоток-другой водки — Виктор сатанел. Каждого встречного задирал, поносил грубыми словами, лез в драку. И непременно попадал в милицию.

Ещё вспоминал наставления бабушки: «Будь отходчив, внучек, долго обид не таи. Обида что змея: сердце жалит, душу томит. И к черному делу человека толкает».

В другой раз говорила: «Сильного обидеть трудно. Если ты большой и сильный — как тебя обидишь? Слона возьми к примеру. Идет он себе и идет. Моська лает, а он идет».

Грачёв словно слышал муки Сашиного сердца. Уходил и долго слонялся по больничным коридорам, по другим палатам.

Жертву свою признал сразу — с первого взгляда. И понял: Саша узнал его тоже. И предоставил ему решать судьбу их дальнейших отношений.

Грачёва в клинике все полюбили; он понравился врачам, сестрам, няням; каждого встречал улыбкой, каждому готов был помочь.

Никому и в голову не могло прийти, что этот красивый, сильный и приветливый мужчина уже трижды увольнялся с работы за пьянство. Он только новому другу своему Александру Мартынову рассказал историю своей жизни. И признался: «Сбитый я с курса человек. Моя компания теперь — выпивохи да ханыги, такие же, как я, бедолаги».

Профессор, просматривая записи о больном, не нашел места работы Грачёва. Позвал к себе, спросил:

— Вы, мил человек, кто будете: министр, артист или слесарь?

— Последняя роль ближе всего мне по духу, да только и слесарем, и даже учеником слесаря никто меня не берет. Рюмка мне дорогу перешла. И нельзя сказать, чтоб я пил много — не алкаш я, не запойный пьяница, а как выпью, бешеным становлюсь. Непременно дров наломаю.

— А вы не пейте. Совсем не пейте. И тогда у вас все станет на место,— сказал профессор, будто речь шла о пустяках.

— Хорошо бы, да не получается. Рюмка она незаметно летит в горло.

Выписав рецепт, профессор поднял на Грачёва глаза. Перед ним сидел на редкость ладный, крепко сбитый человек. В хороший свой час сотворила его природа.

— Будем лечить дальше,— сказал профессор.— Но помните: вы остались живы только потому, что рядом с вами оказался товарищ с машиной. В другой раз... подобный случай может окончиться плачевно. Идите в палату.

У профессора не было времени, и он не стал подробно расспрашивать Грачёва о его жизни. Первые исследования не давали полной картины; патологических нарушений в области сердца не было, алкогольного отравления — тоже; пьянство в этом случае не могло быть единственным фоном для такого состояния; очевидно, тут был внезапный психологический шок, но о нем больной из каких-то соображений умалчивал.

Профессор не лечил в своей клинике алкоголиков, но он много видел перед собой людей, чьи болезни развились на фоне курения и пьянства. Нет органа, который бы не страдал от возлияний и от курения. Рак легких встречается у курильщиков в двадцать раз чаще, чем у остальных. Цирроз печени, болезни сердца — печальное следствие пьянства. Бурлов по виду мог определить «стаж» пьяницы. Мертвенная синюшность, мешки под глазами, помятость лица, помутневший, вороватый взгляд — и всегда пришибленная, виновато склоненная голова... У Грачёва не было этих признаков — взгляд прям, тверд. Казнит себя пьянством, чего истинные пьяницы никогда не делают. «Он, конечно, пьет,— размышлял профессор, заканчивая запись в истории болезни,— но он не пьяница, тем более, не алкоголик».

Бурлов для себя решил: поговорю с Грачёвым ещё раз, попробую вызвать на откровенность.

Ещё в молодости, работая в системе скорой помощи, Бурлов часто ночами, по восемьдесят часов кряду оперировал людей с разбитыми головами, поломанными ребрами, выбитыми суставами. Резал, чистил, сшивал места, проткнутые финкой, гвоздем, шилом. И почти всегда драмы совершались в состоянии опьянения. Водка, как страшный мох, бросала людей в кровавую молотилку, и люди стонали, плакали, молили о помощи.

Сибирский городок, в котором жил хирург, был небольшой, но работы хирургу хватало. Болели ноги, ныла спина, глаза от напряжения слезились. Когда заканчивал операцию, в изнеможении опускался на подставленный кем-то стул. Старшая операционная сестра вытирала с его лица пот, подавала чашку крепкого чая.

Смолоду дал себе зарок: не пить! Как-то в кругу друзей, принуждавших его выпить, сказал:

— Будь моя воля, я бы на бутылках с водкой помещал изображение Медузы Горгоны.

Друзья смеялись. Бутылка «Столичной» с изящным горлышком и нарядной этикеткой никому из них не напоминала чудовище из легенды. Кое-кто усмотрел в замечании товарища желание поиграть в оригинальность, подчеркнуть свою непохожесть на других — черта, особенно неприятная в кругу любителей шумных и беспечных застолий.

Уже тогда, в те далекие времена, будущий профессор столкнулся и с другой мрачной стороной алкоголизма: умственно отсталыми детьми, олигофренами, малютками, несущими на челе с рождения страшную печать болезни Дауна. Такие дети чаще всего рождались у пьяниц,— особенно, когда родители в момент зачатия были навеселе. Стал изучать и эту проблему, собирать материалы, создавать собственную статистику. В научном бюллетене, издаваемом Всемирной организацией здравоохранения, прочел: в Швейцарии врачи обследовали девять тысяч идиотов. Выяснилось: почти все они зачаты в период сбора винограда или на масленице — в дни, когда люди особенно много пьют.

В кабинет вошла няня Акимовна, стала протирать подоконники, книжные полки. Акимовна давно получает пенсию, но из клиники не уходит, любит врачей, сестер, больных. Говорит: «Это моя семья, как же без них».

Николай Степанович прочел ей старые записи из блокнота о детях, жертвах алкоголизма. Няня покачала головой. Сказала:

— Наши родители книг не читали, но про такую пагубу знали. На свадьбе-то, бывало, губами рюмки не коснутся. У моей матушки было четырнадцать деток, а чтобы хоть один увечный — боже сохрани! Учености дать нам не могли, а что до здоровья — слав те господи, все в отца-батюшку удались. Он у нас девяносто годков прожил и дня без труда не знал.

Няня ушла, а профессор долго ещё сидел в кабинете, перебирал в записной книжке потемневшие листочки. Попались на глаза слова из какой-то статьи Дарвина: «Привычка к алкоголю является большим злом для человечества, чем война, голод и чума, вместе взятые».

Вот уже полстолетия лечит людей профессор Бурлов, сорок лет пишет статьи о вреде алкоголизма. В статьях есть цифры, которые он вывел из своих практических наблюдений за больными. «Пьющие живут в среднем на 15-20 лет меньше, они редко доживают до пенсии».

«80 процентов детей алкоголиков страдают нервно-психическими заболеваниями». «Из каждых 100 детей, страдающих эпилепсией, у 60 родители — пьяницы». «Психическая деградация пьющих женщин идет в 3-5 раз быстрее, чем мужчин-пьяниц».

Профессор принимал больных, консультировал. Последним вошел мужчина лет пятидесяти — невысокий, тучный, с седой шевелюрой и умными карими глазами. Смотрел бычком, все в сторону, мимо профессора.

Ничто не обнаруживало в нем больного, скорее он походил на начальника.

— Здравствуйте, профессор. Вы меня не знаете, я новый председатель объединения «Медприбор» — Очкин Михаил Игнатьевич.

И уже садясь в кресло, — без приглашения, — добавил:

— Будем знакомы.

— А, да — как же! Ваш предшественник Морозов Николай Николаевич. Мы с ним были дружны.

— Надеюсь, и мы найдем общий язык. Смотрел заявки вашей клиники — постараюсь удовлетворить. Вы просите две искусственные почки — дадим одну, пока одну.

— Нужны две. Я бы просил, Михаил Игнатьевич...

— У нас много заявок — из других городов, поставки за границу.

— А вы постарайтесь. Надо быть патриотом своего города. Но извините, мы все о делах, а вы, верно, ко мне... Вас что-нибудь беспокоит?

— Да нет... пока здоров. Тут у вас лежит на излечении некто Грачёв.

— Знаю. Константин Павлович. Вы его родственник?

— Не совсем. То есть, да... в известной мере. Грачёв — бывший муж моей жены, я по ее просьбе. Скажите, пожалуйста, что с ним? Как его самочувствие?

— Нынче — прилично. У него сердце, спазм. Думали — инфаркт, но, слава Богу, обошлось. Скоро выпишем.

— Да вот... в том-то и дело — скоро выпишете, но известно ли вам... он, кроме всего прочего, способен упиваться до состояния риз и, когда пьяный, черт знает что может натворить. Так, может, в лечебницу его — специальную?..

— Поня-я-тно. Не думал об этом. У него есть дети?

— Взрослая дочь. Живет с нами.

— Кто он в прошлом?

— Грачёв — известный боксер, он в свое время был чемпионом, но водка всё ему поломала. И вот что я вам скажу: не пьяница он, не алкоголик, — месяцами в рот не берет спиртного. А уж как врежет — святых выноси! Тут он таких дров наломает. Ну, и — ясное дело, гонят отовсюду. А жена моя... из сострадания. Помочь хочет. Так может, в вашей клинике, а не то — в другую, или в колонию, где лечат и заставляют трудиться.

После некоторой паузы вдруг сказал:

— Я бы алкоголиков не лечил.

— Как? — профессор смотрел поверх очков.

— Не лечил бы и всё! Мы и без того бесцеремонно вторгаемся в деятельность природы, а тут новое над ней насилие.

— Помилуйте! Алкоголь вредит человеку, вливая вино в организм, мы его истязаем — вот где я вижу насилие над природой!

— Алкоголик обречен, он лучше других понимает свою несостоятельность, неспособность к борьбе — и добровольно, медленно, безболезненно уводит себя из жизни. Вино — инструмент естественного отбора; не будь его, человек нашел бы другое зелье — траву, листву, коренья, все равно — закон естественного отбора неумолим. Если

общество, руководствуясь ложным гуманизмом, искусственно поддерживает жизнь слабых организмов, они сами, эти слабые организмы, не проявляют охоты для долгой жизни. Сильный живет дольше, слабый меньше. Прежде слабых уводили болезни, драки, голод, ныне — алкоголь, папиросы, наркотики, стресс.

Очкин проговорил свою тираду глуховатым баском, почти не глядя на собеседника; он и вообще говорил неохотно, сидел на краешке кресла, будто собирался уходить, да вот... пришлось задержаться. Профессор относил это к высокомерию посетителя — во всей манере гостя, в категоричности тона он видел неуважение к себе, это сердило, но монолог Очкина озадачил. Он выпрямился в кресле, блеснув очками, возразил:

— Ну и ну! В такой философии ни грамма гуманизма!

— Когда вы делаете конкретное дело, то и гуманизм понимаете по-своему.

Стараясь быть спокойным, профессор возразил:

— Вы мыслите категориями...— хотел сказать «обывателя», но воздержался...— Не государственного человека, а частного лица.

— Не надо зачислять меня в реестр ваших противников. Я — за трезвость, и сам, хотя и выпиваю по случаю, но готов ради общего дела отказать себе в удовольствии. Но для многих людей вино стало потребностью, как хлеб и воздух.

Очкин взглянул на часы, поднялся.

— Извините, Николай Степанович, я злоупотребляю вашим временем...

Профессор проводил до двери высокого гостя.

— Хотел бы вам показать клинику, оборудование.

— Зайду в другой раз.

Бурлов некоторое время сидел в задумчивости; его радовало неожиданно состоявшееся знакомство с новым директором объединения, но, пожалуй, сейчас больше занимали суждения Очкина об алкоголизме. «Многие ли так думают?» — спрашивал себя профессор.

Через минуту Очкин вернулся.

— Прошу прощения, Николай Степанович. У меня к вам большая просьба...

Он раскрыл портфель, достал сверток:

— Жена купила фрукты. У меня решительно не осталось времени передать Грачёву. Не сочтите за труд...

— Хорошо, хорошо... Оставьте вот здесь.

Проводив Очкина, в рассеянности обошел кресло, но не сел, а стал ходить по кабинету. В ушах продолжал звучать голос Очкина: самоуверенный тон, ясная, житейская философия и будто бы справедливый взгляд на пьяниц. Бурлову порой и самому казалось: пьяниц нечего жалеть, их не лечить, а наказывать, взыскивать строго за все причиненные ими уроны близким и неблизким людям. Ведь их никто не принуждает пить, они отравляются по своей воле; знают ведь, как оскотинит их водка, и тянутся к рюмке, а, попробуй, удерживать — тебя же обругают.

Бурлов, рассуждая подобным образом, вынужден был признать, что жесткая философия Очкина, непримиримость к пьянству имела свою логику и привлекательность. Строгости необходимы; очевидно, в будущем,— может быть, совсем недалеко, государство примет к пьяницам суровые меры. Без натиска, решительных атак и даже штурма побед не бывает. А победа над зеленым змием так же нам необходима, как была необходима победа в Великой Отечественной войне.

Саша Мартынов пошел на поправку; кризис миновал, и он теперь гулял по коридору.

«Ага! — торжествовал академик, просчитывая пульс больного.— Локальные инъекции... Почти стопроцентная гарантия успеха».

Метод локальных инъекций разработан Бурловым, его теперь применяли во многих клиниках. Профессор гордился своим открытием. И очень жалел, что многие врачи то ли по незнанию, то ли по другим причинам не применяют локальные атаки.

— Ну, ну, поправляйтесь, молодой человек. От вашей болезни не останется и следа. А вот негодяя, который вас так ударил, надо бы найти. Я ещё до отъезда сделал запрос в милицию, сегодня позвоню.

Подошел к Грачёву. Тот стоял у койки в покорной выжидательной позе. Смотрел на профессора прямо, смело и как-то не по-мужски ласково. Он никак не походил на больного: помолодел, расправился, в темных глазах светился огонек задора.

Взял его руку, слушал пульс. Удары были четкими, в меру частыми, наполнение хорошее. Мускулисто крепкими, завидно тяжелыми были руки. И грудь, и плечи — все дышало силой. Профессор знал: Грачёву было тридцать пять лет. На тумбочке в стакане с водой стоял букетик полевых цветов, рядом лежали кульки со снедью. «Приходила дочь,— может, бывшая жена»,— подумал Бурлов. И хотел было сказать: «С вами все ясно, будем выписывать», но, поразмыслив, сказал другое:

— После обхода зайдите ко мне.

— Слушаюсь! — по-военному ответил Грачёв.

И вот он сидит у стола знаменитого хирурга. Бурлов долго и внимательно смотрел в глаза пациента, словно хотел убедиться: стоит заводить с ним серьезный разговор или пусть идет на все четыре стороны и продолжает свои пьяные оргии.

Вспомнил сентенцию Очкина: «Вино — инструмент естественного отбора; не будь его, человек нашел бы другое зелье».

Мысленно возразил Очкину: «Ну разве он... этот молодец, похож на человека, который должен раньше других уйти из жизни?»

— Мне звонил Очкин Михаил Игнатьевич.

— Знаю.

— Что он за человек?.. То есть, я знаю: он директор объединения...

— Генеральный директор!

— Пусть так. Я не о том. Что он за человек?

— Как все начальники — самодовольный и высокомерный. А так... ничего,— не злой и не жадный. Он, наверное, говорил...

— Да, кое-что рассказал. Я с ним спорил. Он вас считает безнадежным, а я верю... Вообще верю в человека.

— Напрасно, профессор, верите. Он прав: тягу к спиртному одолеть нельзя. Пробовал, не получается. Это у меня, человека, не лишеного от природы силы воли. О других и говорить нечего. Человек, ударившийся в загул,— не человек, скотина, он хуже скотины. По мне так: пьяниц надо сажать на цепь, ковать в кандалы, ей-богу!

— А вас?

— Я — иное дело. Не совсем пропал.

И, помолчав с минуту:

— Очкин меня презирает. Я и сам себе не рад. А ханыг, толкущихся по утрам у магазина... Я бы их передушил. И вот ведь что странно: презираю, а случилось, шел к ним. В глаза им не смотрел, но руку поднимал: «Стрелки! Мое вам!» И если у меня не хватало на бутылку, шукал напарников, каким-то нутром слышал, у кого в кармане шевелится мелочишка или зажата в кулаке рублевка. Впрочем, рубли случались редко. Все больше — копейки.

— Вы пили водку, отравлялись не сразу. Теперь пьют разную гадость. Со всего света везут. Мужики наши мрут, как мухи. К нам в клинику их все больше поступает. Таращат оловянные глаза, рта закрыть не могут. Всю слизистую спалил, а чем — понять нельзя.

— Водка — магнит,— убеждено проговорил Грачёв.— И тянет он к себе не самых худших. Пьяница чаще всего с душой чувствительной рождается. Иной и пить начинает от избытка чувств и широты взгляда на мир. Один к жизни и судьбам людским равнодушен — тому легче сдержаться, другой изнывает от дум и несправедливостей разных; и к товарищам он милей, всех уважить норовит — протянутую к нему рюмку, как привет дружеский, знак сердечный, отклонить не может. Я по себе сужу: не могу я отказать товарищам,— сердце к людям тянется, душу распахнуть готов. А водка она

тормоза снимает. Вот тут и судите: кого из нас пожалеть стоит, а кого уж... как старые люди говорят: хоть бы Господь прибрал.

Бурлов не возражал; он как врач не мог принять философию безысходности, но в ней слышал отголоски оправдания своего бессилия. Спасать их трудно. И возмущал его сам факт добровольного, радостно-беспечного отравления. Он много раз заводил беседы с этим людом, пытался отвратить их от пьянства. Иные будто бы и понимали его, обещали, даже клялись, но потом узнавал: они пили по-прежнему. И снова пытался, и снова его постигали неудачи. Их не останавливают тяжелейшие отравления, цирроз печени, распад клеток жизненно-важных органов.

«Так, может, они правы — те, кто им не верит и на них махнул рукой?» — спрашивал себя в такие минуты.

Наступали периоды безверия. Он в мыслях преступал завет Гиппократова: бороться за жизнь больного до конца и при любых обстоятельствах. Не было сил по шесть-восемь часов стоять у операционного стола, латать изъеденные алкоголем части организма.

Однако в случае с Грачёвым профессор снова воспрянул духом.

Позвал няню Акимовну, приказал ей строго следить за больным:

— Ни грамма спиртного! Никто, ни одна душа чтоб не передала. Нельзя ему, погибнет он от одной рюмки,— припугнул няню.

— И-и, погибнет! Да что ему сделается, бугаю такому? Жрал водку до нас, будет жрать и после.

— Вы что-нибудь о нем слышали?

— Как же — слыхала... Порча на него нашла. Он теперича человек конченный. А так-то, когда не пьёт, ишь, какой молодец! Он, говорят, в бокс играл. Ну, это вроде у нас, в деревне, кулачного боя; так будто бы всех боксеров одолел. В целом свете. В чемпионы вышел. А как с ним-то, с винищем сдружился, все и пошло прахом.

Профессор предложил старой санитарке сесть.

— Вы, Акимовна, говорите: порча нашла. Лечить от нее трудно — верно. Но вот у вас в деревне знали такое средство, чтобы от водки людей отваживать?

— Трав лекарственных, настоев разных, мазей много знали. Почитай, редкую болезнь одолеть не могли, а что до пьяных — нет, не лечили. Да и мало среди сельских людей было таких. На свадьбах, на поминках или ещё по какому редкому случаю мужики, бывало, выпьют. Случалось, кто в стельку упьётся, но чтобы пить часто? Господь миловал. А если и заведется где такой, его за человека не считали. Пьянчужка, и весь сказ. Помыкается, помыкается,— смотришь: сгинул! В поле замерз, в пруду утонул.

Акимовна ближе подвинулась к профессорскому столу:

— Колдуньи разные, те заговором сатану изгоняли. В нашей деревне не было, а в соседней будто бы старушка ветхая слова такие знала и зелье варила. К ней мужика одного от нас возили. В чугушке траву горькую долго варила и слова какие-то шептала. Пить заставила. Отпоила! Он потом на празднике или в застолье сидит, а вина на дух не берет. Вроде бабы или дитя малого — не пьёт и все тут. Да вот жалость: скоро та старушка померла. Но и пьяниц уж будто бы не стало по всей округе. Перевела, значит, своим зельем.

— Перевела,— подтвердил, улыбнувшись, профессор.— Жаль, только нам не передала секрет лечения и диссертации не написала.

Приободрился Николай Степанович, вышел из-за стола.

— Спасибо, Акимовна! Народ наш, как вы обрисовали, не пасовал перед болезнями — даже перед такой страшной, как алкоголизм. А мне тут кое-кто говорит: алкоголиков не излечишь, на них нужно махнуть рукой. А ведь их много, людей, пораженных страстью к вину. Миллионы.

Назавтра Бурлов вновь пригласил Грачёва, попросил подробно рассказать о себе, о всей своей жизни.

— Скажу вам откровенно,— говорил Николай Степанович,— вы мне симпатичны, и я не хотел бы выписывать вас из клиники, не употребив все средства для излечения вашей болезни.

— Профессор! Благодарю за отеческую заботу. Я нынешнюю ночь не спал, все думал о своей жизни. И что же получается: и я, и Очкин — оба пьем, но он пьет умело, «культурно», а я по-свински. Я пьяница, последний человек, а он — чистенький, и даже пользуется уважением, в начальниках ходит. А я уж вам говорил: и пью-то по простоте душевной. У меня для каждого душа нараспашку. Ханыге и тому угодить хочу. К утру принял решение: не пить! Мой приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

— Такое обещание вы уже давали и, верно, не однажды.

— Да, давал. Но на этот раз... Тут ещё Очкин меня раззадорил. За меня расписался Очкин, то есть пожалел меня.

— Но ведь и раньше...

— Профессор, страсти роковой к вину у меня нет. Я не из тех выпивох, которым каждый день необходима чарка; у них по утрам все ноет, каждая клеточка вопит, а руки дрожат и тянутся к бутылке. Нет! Я пил не так уж много — случалось, месяцами не знал ее проклятую, и жил как человек. Моя беда в другом: не могу отказать товарищам, если они зовут или просят, и вместе с рюмкой в меня вселяется бес, я становлюсь дурным, лезу в драку. Оттого все мои неприятности. Теперь же...

Грачёв в одно мгновение вспомнил сцену на берегу Финского залива, свой коварный жестокий удар. И кого ударил? Сашу Мартынова, золотого парня, вставшего на защиту Ирины.

От природы наделенный сильно развитой чуткой совестью, он бывал собою недоволен, если в боксе случалось нанести удар в болезненное, вдруг открывшееся у противника место — удар неожиданный, повергавший соперника в нокаунт, а то и в глубокий нокаут. И хотя ему присуждалась победа, а зал взрывался от аплодисментов, он с ринга уходил со смутным чувством тревоги, недовольства собой. Победа казалась случайной, добытой не очень чистым приемом — будто он таился в засаде и поразил противника внезапно, когда тот не ожидал и не был готов к отпору.

Можно вообразить, как он страдал теперь, глядя на Сашу Мартынова, поверженного излюбленным своим ударом — снизу, вподкид, словно бы поддевая противника железным гиреподобным кулаком. Тайная и вечная горечь сердца станет теперь преследовать его всю жизнь. Да, да, сколько жить ему, столько будет казнить себя. Казнить молча и втайне — никогда, никому и ни за что на свете не признается он в этом своем позоре.

Сказал он другое:

— Меня Очкин задел за живое — ярость к нему вздыбилась, а если ярость — я иду, как танк. И нег для меня помех, все одолею — и себя тоже. Поверьте мне, Николай Степанович. Увольте от лечения.

— Хорошо, хорошо, я все-таки подержу вас в клинике. Расскажите о себе.

Бурлов подвинул тетрадь, приготовился записывать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Много книг написал за свою жизнь академик Бурлов. Его монография «Рак легкого» стала учебным пособием для всех медицинских институтов и колледжей мира. Теперь он собирал материал для новой книги: «Алкоголь и человек». Замыслил написать труд фундаментальный, показать на своем опыте, на своих больных коварную и смертельную пагубу этого заклятого, многовекового врага человечества. И показать со всех сторон — со стороны медицинской, социальной, нравственной, философской. И он торопился: успеть бы! Ведь лет-то ему уже семьдесят пять.

Веселый, улыбающийся и такой душевный красавец Грачёв дал толчок новым мыслям: «Человек сопротивляется,— думал профессор.— Мозг его разрушению не подвергся. Надо узнать, как долго он пьёт и сколько пил, каковы были просветы, перерывы...»

Акимовна говорит: «Заведется такой — его за человека не считают. Помыкается, помыкается,— смотришь: сгинул!..»

Народ отворачивался от пьяниц. Но то народ, а медики? Ведь ещё со времен Гиппократов установилось святое правило для врачей: с любым недугом борись до конца. Употреби все средства, не отступай, не сдавайся, пока смерть не положит предел твоим стараниям. Но сколько я могу сделать операций? — сотню, другую?

Вынул из стола присланное ему из Москвы письмо в правительство двух профессоров — экономиста Исакова и химика Жданова. Стал читать:

«В романе Ф. Достоевского "Братья Карамазовы" Смердяков бросает в лицо "теоретика" Ивану Карамазову: "Вот Вы-то истинный убийца и есть!" И сегодня "практики"-спайватели смердяковы могут сказать идеологам-алкоголизаторам: "Вот вы-то и есть истинные убийцы народной трезвости и народного генофонда!"»

И дальше шли цифры:

«Расширение алкоторговли... принесет советскому народу в пределах 12-й пятилетки 1,6-1,8 миллионов ослабленных новорожденных, подарит шестьсот тысяч алкосмертей, семьсот тысяч новых алкоголиков...»

Да, водкой отравляют миллионы. Одним ли только скальпелем надо бороться с этим массовым сумасшествием? Нет ли других способов борьбы — радикальных, революционных? Уговоры врачей не дают успеха, лекции проходят впустую, — неужели в русском языке нет слов, способных пронять, убедить? Что думают на этот счет психологи и филологи? Мать наук — философия! Разве она не призвана служить людям? Почему молчит?

Подобные мысли являлись и раньше, но тотчас их сменяла другая цепь размышлений: пьяницам, особенно запойным, глубоким, уже не помочь. Народ не ошибается, в нем все источники гуманизма, в том числе и врачебного. Самоубийцу не отпевали в церкви, не воздавали почести при похоронах... Народ в своих приговорах не знает компромиссов. И Очкин со своей философией ближе к народным понятиям, чем я. Но... может быть, так было во времена, когда во всей деревне был один пьяница? А в деревне Акимовны таковых и вовсе не было. Ныне же пьянство стало повальным. Все здоровые, не подверженные пьянству люди обязаны забить тревогу, ударить во все колокола. Нельзя быть равнодушным, когда многие люди — массы людей! — попали в беду! И первыми в бой с дурманом должна пойти национальная интеллигенция.

Вот такие новые для профессора Бурлова и несколько торжественные мысли владели им, когда ученый думал о судьбе Грачёва, когда в нем созревало решение вторгнуться в его личную жизнь и попытаться ему помочь.

Профессором овладел интерес почти спортивный: он вознамерился хотя бы одного человека отвратить от пьянства и тем доказать многим, и в первую очередь Очкину: с пьянством бороться можно, человеку под силу одолеть это зло, если хорошо за него взяться.

Бурлов написал десятки статей о пагубе пьянства, читал лекции, но взять пьяницу и убедить его не пить — такого опыта сам лично не проделал. Грачёв казался ему хорошим объектом, и он с радостью принимался за дело.

Снова и снова заходил он в палату Грачёва, приглашал его в свой кабинет, а однажды сказал ему:

— Я вас выписываю. Хотите пожить у меня на даче?.. Я ведь сейчас один. Места много.

Грачёв с радостью принял приглашение. В этот день он много рассказывал профессору о своей жизни.

Костя Грачёв на мировом первенстве завоевал титул сильнейшего боксера в своей весовой категории.

В то время он служил в армии. Костя родился и вырос в Приуральске, тут же поступил в военное училище, а по окончании был оставлен начальствовать в гараже.

Внутриучилищный радиоузел несколько раз передавал подробности боя старшего лейтенанта Грачёва с сильнейшим боксером мира.

Сумели оценить значение такого неожиданного и замечательного обстоятельства и земляки.

— Парень из Приуральска и вдруг — чемпион! — говорил председатель Горсовета.— Раньше-то кто о нас знал — ну, городок на Урале, кирпичный завод, элеватор... А тут во всех газетах: Грачёв из Приуральска!..

Председатель был человек молодой, горячий.

Заместитель, наоборот: пожилой, степенный. Победой земляка, конечно, гордился, но вида не показывал. И будто относился к событию с прохладцей. С видимой небрежностью сказал:

— Дождались. Слава и нас языком лизнула. Однако не такое уж событие, чтоб в барабаны бить.

— Но нет! — горячился председатель.— Факт общественного значения, и приуральцы обязаны оценить его. Да случись такое где-нибудь в итальянском городе, там бы и ночь напролет ликовали. Перво-наперво в аэропорту встречу учиним.

— Тоже... замахнулся!..

Председатель не слушал зама.

— Вечером соберемся в банкетном зале...

Тут же был и тренер, воспитавший Грачёва,— Одиссей Фомич Косолапов. Никто из приуральцев не знал, почему назвали таким громким именем одного из его жителей, но в далекой молодости боксер из Приуральска Косолапов побил многих именитых бойцов, доказав землякам, что имя громкое дадено ему не зря. Правда, с тех пор прошло много лет, земляки уж не помнят побед Косолапова, но имя — таинственное и мудреное — чем-то выделяет его среди других жителей.

Одиссей Фомич был сторонником абсолютной трезвости и боялся, что на банкете Костю заставят пить.

— И рюмка водки — враг для спортсмена,— говаривал Косолапов,— она способна выбить из формы любого бойца, ослабить мышцы, притупить реакцию.

Случалось, на это ему возражали:

— Вы уж слишком, Одиссей Фомич.

— Нет, вы со мной не спорьте! По себе знаю: и малая доза алкоголя по всем членам сонную одурь разливает; человек будто бы и тот, он будто и резвее становится, и в глазах блеску прибавляется, но блеск этот шальной, резвость обманчива. Энергия, прихлынувшая в первую минуту, затем быстро убывает, руки-ноги становятся ватными, а реакция на опасность и на внешние предметы замедляется,— человек чувствует себя так, будто его вдруг, из-за угла, чем-то тяжелым хватили. Я потому с ней, проклятой, никаких компромиссов не признаю.

Старый тренер и теперь, после такой желанной Костиной победы, выражал опасение:

— Торжественная встреча — хорошо, я разве против, да одного боюсь: пить будут и Костю сманят. А нам с ним с ходу к тренировкам приступать надо. Первенство страны вот-вот. Хорош будет чемпион, если ему средний боксер нос расквасит.

— Ах, Фомич! — раздражался председатель.— Каркаешь ты, а все зря. Стар ты стал, вот и брюзжишь попусту. Костя — человек военный, офицер. Там у них дисциплина, во всем порядок. Ты в городе военного видел пьяным? Нет. Ну, так и за Костю не тревожься. Не

пил он и не будет пить. Ну, а другим не заказано. В городе праздник — пей-гуляй и нос в табаке! Ханжа ты, Одиссей Фомич.— Вот что я тебе скажу. Ну, словом, оставь свои опасения. Встреча так встреча! И чтоб делегации, и оркестр, и банкет. А ты явку родителей Грачёва обеспечить. Начальнику училища позвони. Телевизионщики из области едут. Пусть все видят, какого орла Приуральск на крыло поставил.

Посадили Костю на почетном месте — рядом с председателем. Напротив сидела жена Костина Ирина. Она училась в Горном институте, приехала на каникулы. Ее предупредительно пригласил Одиссей Фомич,— он, кстати, сидел по правую руку от Кости и, будучи уверен, что на него все смотрят и его считают главным виновником торжества, не смел поднять на людей переполненных счастьем глаз.

Говорили речи, было много речей, но Костя почти не разбирал слов. Во-первых, было шумно, всем хотелось говорить, и мало кто был расположен слушать; во-вторых, он хотя и не все время смотрел на Ирину, но думал о ней, и горд был сознанием своей победы. И мысленно повторял слова знакомой песни:

И отныне все, что я ни сделаю,

Светлым именем твоим я назову...

— Да нет, товарищи, вы только представьте на минуту,— чемпион! И кто? Наш приуральский — Костя Грачёв. Выпьем за Костину победу!

Кто-то наклонился над самым ухом, говорит так, чтобы кроме Кости никто не слышал:

— Э нет, так не пойдет — ты, Костя, дурака не валяй. Мы тут по третьей рюмке за тебя осушили, а ты ещё первую не выпил. Шалишь, брат! Не обмоешь медаль, долго у тебя не задержится.

Одиссей отстранял от Кости рюмки, парировал атаки:

— Не надо, ему нельзя. У нас тренировки.

Как раз в этот момент Костя взглянул на Ирину; она будто бы улыбнулась. «Да ты хотя и офицер,— говорил ее взгляд,— а ещё совсем зеленый. Видишь, тебе и выпить не дают». А тут начальник училища поднял рюмку. Кивнул Косте:

— Ну, ну, старший лейтенант, по такому случаю грех не выпить.

Костя победно взглянул на тренера: видишь, мол, сам генерал разрешает.

Громко возгласил:

— За тренера — Одиссея Фомича!

И высоко поднял рюмку. Ирина снова кивнула: дескать, молодец, Костя, ты настоящий мужчина!

Шум теперь стоял не только за столом, но и в голове, и все было как в тумане, плыло куда-то, увлекало.

А над головой гремело:

— Ты показал им, где раки зимуют. Если они хотят научиться драться, пусть приезжают в Приуральск. Твой удар, Костя! Выпьем за грачёвский удар!..

Одиссей Фомич молил, заклинал, но теперь Костю забавляли его нотации, он пил одну рюмку за другой и на все мольбы тренера глупо, идиотски ухмылялся.

А кто-то рядом возглашал:

— Внимание, братцы! Костя скажет тост. Тебе, Грачёв, слово.

Костя поднялся и, покачиваясь, обводил замутившимся взглядом земляков. Ещё теплившаяся в сознании врожденная скромность подавала голос: «Какой тост! Зачем?»

Но слова рождались произвольно, просились наружу:

— Я... Мы...— вот тут Одиссей Фомич... не разрешает, а я хочу выпить! Я имею право выпить? Нет, ты скажи — имею право или нет?

«Тренера на ты называю. Что со мной сделалось?»

Но тут почувствовал, как за локоть его кто-то тянет: «Садись, садись!» Двинул локтем: «Пошли прочь!»

И хотел кого-то ударить, но его схватили за руку, удержали.

Потом лепетал:

— Спасибо, земляки. И вам, Одиссей Фомич, и вам...

Ему было плохо, внутри все горело, к горлу подступала тошнота. Не привыкший к вину, он потерял голову от нескольких рюмок, и его почти бесчувственного отвезли домой.

Утром следующего дня Грачёв проснулся в одиннадцать часов. На службу ему идти не надо, но он должен был проводить Ирину. «Опоздал!» — было его первой мыслью. Ещё раз взглянул на часы: да, конечно, он опоздал. Ирина уехала на защиту диплома в Ленинград; так и не успел ей ничего сказать.

К душевной сумятице прибавлялась головная боль, его слегка поташнивало. В ушах стойко и нудно звенело — так, будто за рекой Течей, блестящей в лучах утреннего солнца, зазвонили колокола вдруг оживших церквей.

Подошел к окну, стал машинально считать маковки храмов и церквей, отливавших на солнце лебедиными боками. Храмы молчали. В одном размесилось городское общество охотников и рыболовов, в другом — склады. «Но что же так противно звенит в ушах?»

Костя не на шутку испугался. «Неужели звон в ушах останется навсегда? Хорош же я буду боксер.»

Припомнились сцены в ресторане.

Толкнул Одиссея. «О-о... Это ужасно!»

И тут вспомнил: сегодня, как и всегда, во дворце Спорта тренировки. Они вот сейчас начинаются. Одиссей Фомич опускается в свое кресло, смотрит на хронометр, говорит: «Начнем, соколики!»

Каждый день ровно в одиннадцать... «Начнем, соколики!» И так тридцать шесть лет тренирует Одиссей Фомич своих питомцев — с тех пор, как в одном бою ему, тогда уже опытному и знаменитому боксеру, перебили ключицу, и врачи списали его с ринга.

Тридцать шесть лет! Не зная праздников и выходных, никто не помнит случая, чтобы тренер опоздал, начал чуть позже, кончил чуть раньше.

Костя наскоро умылся, оделся, и — во Дворец. Мать вдогонку кричала: «Завтрак на столе. Чайку бы хоть попил».

Тренировки шли на ринге. Костя подошел к тренеру сзади, встал у плеча.

— Одиссей Фомич, здравствуйте!

Тренер кивнул, но лица не повернул.

— Простите за вчерашнее.

Одиссей Фомич молчал. Показал в сторону уже одетого, сутуловатого парня.

— Вон с ним.

Костя оделся. Коснулись друг друга перчатками. Краем глаза окинул ринг, толпившихся у тренерского столика ребят. «На меня не смотрят. Будто не привез я им золотой медали».

Нехорошо было на душе, беспокойно.

Приступил к тренировке.

После занятий состоялся разбор, и Одиссей Фомич сказал Грачёву:

— Тобой, соколик, недоволен. Мда-а, удары, пробежки — все вяло. И вообще-с, лапша. Вчерашняя гульба все силы отшибла. Да, соколик, я говорил, предупреждал.

Беда в одиночку не ходит, одна неприятность тянет за собой другую. Дня через три Грачёва потрясла весть: тренер его Одиссей Фомич умер внезапно от инфаркта.

Слово, как пуля, и ранит и валит наповал. Старого тренера убили. Одним лишь словом: «Слиняй». Да, председатель спортобщества так и сказал: «Слиняй, Фомич». А когда тот отказался «линять», председатель, бывший Косолапову закадычным дружкой, положил ему руку на плечо, сказал: «Ну, что воззрился на меня, чего жилы тянешь? Приказ сверху получен. Мы — люди подчиненные».

Приказ этот — о составе команды Приуральска на областные отборочные соревнования по боксу. В области отберут команду на Всесоюзное первенство.

Косолапов приготовил одних боксеров, а председатель навязывал других. Тренер возмущался, кричал... И тогда снова сказал председатель: «Слиняй, Фомич».

Это была его поговорка. Он ещё пальцем показывал на потолок: «Там, там решают».

Дома Фомич прилег на диван, попросил таблетку, но тут же потерял сознание...

Хоронить тренера Грачёву не пришлось: на следующий день команда выезжала.

В областном городе устроились в гостинице. Спортсмены зашли в ресторан. Услужливый официант, подмигнув ребятам, спросил:

— Чего будем пить?

Ребята пожали плечами.

— Водку? — продолжал официант. — Сколько принести?

— Графинчик. Маленький.

— Все ясно. Триста. А чем закусим? — бойко сыпал официант.

Потом они сидели за столиком у окна и ждали. Говорить ни о чем не хотелось. Знали они о свершившейся несправедливости, из-за которой и умер их тренер Одиссей Фомич — хотели ещё заглушить чувство обиды, душевную боль за товарища, несправедливо обойденного, отставленного в сторону только потому, что какому-то «важному» пригрезились для своего родственничка лавры чемпиона. И выпили. По одной, по второй, по третьей...

Было уже темно, когда они вышли на улицу. Водки выпили не ахти сколько, а в голову ударило. Почему-то им казалось: люди должны смотреть на них, восхищаться ими. А люди шли мимо, брезгливо сторонились. И тем сильнее хотелось обратить на себя внимание. Говорили громко, размахивали руками. На углу кинотеатра «Медная гора» их задержал милиционер. Грачёв рванулся в сторону, хотел обойти, но милиционер сильно схватил за руку, рванул к себе. Это была минута, когда внутри у Грачёва все закипело; он хотя и помнил, кто перед ним, но в ярости выдернул руку.

— Ну, ну, парень! Уймись. Тюрягу хочешь схлопотать?

Подошли дружинники, повели ребят в милицию.

Дежурный лейтенант составил протокол. Милиционер, задержавший их, сидел тут же, лейтенант его спрашивал:

— Кто из них хотел ударить?

— Этот! — показал на Грачёва.

— Ну и ну! — качал головой дежурный. — А ещё офицер, старший лейтенант. Да за такие дела пробкой вылетит из армии! Ну так рассказывайте: зачем приехали из Приуральска? Узнав, что Грачёв — чемпион мира, лейтенант бросил писать. Долго, изучающе смотрел на парня, потом на милиционера. И взгляд его спрашивал: «Что будем делать?».

Обратился к Грачёву:

— Как же это вы? Наша гордость, можно даже сказать — слава, а такое себе позволяете. Хорошо, что он вот... — лейтенант взглянул на милиционера, — тоже в прошлом боксер, и тоже не из последних, а другой-то... разве бы сладил с вами? Не миновать бы вам беды, чемпион. А? Что же делать будем?..

Лейтенант был из молодых, он только что окончил высшую милицейскую школу; работал с удовольствием, спокойно, был доброжелательным. Он, видно, и от природы не был злым, имел крепкие нервы и хотел бы привнести в свою должность некую философскую мудрость, отличающую, как он полагал, людей мыслящих от людей примитивных, попавших в милицию случайно.

В истории с чемпионом видел удачный случай проявить и широту и благородство.

Повернулся к милиционеру, сказал:

— Ну, что — простим боксеров или как?

Милиционер неопределенно повел плечом. А лейтенант поднялся и бросив в корзинку протокол, протянул Грачёву руку:

— С вином дружбу бросьте. До добра не доведет!

Так состоялась у Грачёва первая встреча с милицией. К сожалению, знакомству этому суждено было продолжаться. Так уж устроен был его организм: рюмка водки будоражила в нем агрессивные чувства; он сатанел и лез в драку с первым встретившимся человеком.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я знал историю жизни Грачёва; в то время я работал собственным корреспондентом «Известий» по Южному Уралу, посылал в газету информации о его победах, слышал и о том, что Грачёв все чаще прикладывался к рюмке, попал в какую-то историю,— хотел поехать в Приуральск, встретиться с ним, да как раз на то время получил распоряжение на перевод в Донбасс,— и тоже собкором газеты. Много лет ничего не слышал о Грачёве, и вдруг — встреча!

Ехал по делам газеты в Приазовский совхоз и у криницы, на полдороги от Донецка до Жданова, увидел знакомого человека.

— Константин Павлович! Вы ли это?

— Как видите. Пробавляюсь родниковой водичкой, а вода, сами знаете, она мельницы ломает.

— Ученые говорят: великая тайна природы.

— Да нет уж, вода она и есть вода. Вы хоть ее бочку выпейте, в голову не ударит.

— Зачем же ударять в голову?

— Ударять не ударять, а так, чтоб вокруг зарозовело — нужно.

— Тут рядом буфет,— сказал я в надежде услышать: «Нет, нет, я теперь не пью» или что-нибудь в этом роде, но Константин Павлович, напротив, вмиг оживился, глаза возбужденно блеснули, и он схватил меня за руку, но я дал обратный ход — сослался на занятость, обещал в другой раз. Константин Павлович так же быстро потух, как и загорелся. Впрочем, обиды не держал и дал мне адрес своего нового обитания.

— Не ожидал вас тут встретить,— сказал я, занеся адрес в блокнот и прощаясь. Уже сидя в машине и мчась к Жданову, не переставал думать о нем,— и был почти уверен, что родину свою — зеленый городок в предгорьях южного Урала покинул он из единственного побуждения — уехать подальше от укоризненных глаз земляков, от своей судьбы, в которой так причудливо и нелепо переплелись его слава и бесславье.

Вспомнил, как услышав о его падении,— он будто бы попал под суд,— я хотел написать о нем очерк «Пьяный нокаут», но — не написал, и теперь, кладя в карман блокнот с его новым адресом, вновь подумал: вот самый раз написать о нем очерк.

На обратном пути мы, как всегда, остановились у криницы. И здесь на грязной траве у крыльца буфета спал захмелевший Грачёв. Разбудил его. Он смотрел на меня мутными покрасневшими глазами, и лицо его ничего не выражало. Тряхнув за плечо, я сказал:

— Поедемте со мной в Донецк.

Он промычал:

— Угу-у...

В Донецке заехали в корреспондентский пункт нашей газеты. Здесь была общественная приемная, и заведовал ею генерал в отставке — Леонид Васильевич Фомин. Во время войны он со своей дивизией выбивал фашистов из Донбасса и на своем танке первым ворвался в пригород. И ныне недалеко от въезда в город на гранитном пьедестале установлен танк Фомина. И как только у генерала вышел срок службы, он приехал в шахтерский город, поселился тут на постоянное местожительство. Ну, и конечно же, к нему я обратился с просьбой поработать в общественной приемной.

— Что это за фрукт у вас в машине? — встретил меня вопросом Леонид Васильевич.

— Знакомец один. Ещё по Уралу. В прошлом знаменитый боксер. Грачёв его фамилия. Он будто бы тоже военным был.

Генерал растерянно повел глазами, отвернул лицо в сторону.

— М-да-а... военный. Он что же — в стельку упился?

Мы прошли в приемную, а бывший боксер остался спать на заднем сиденье машины. Леонид Васильевич был недоволен. Старый воин ревниво оберегал авторитет нашей газеты, и все, что могло бросить тень на ее представителей, вызывало в нем активный протест.

Грачёв, проспавшись, зашел в туалет, умылся, причесался и явился к нам. Я представил его генералу, назвал экс-чемпионом мира по боксу. Генерал кивнул боксеру, но руки не подал. Однако украдкой сочувственно поглядывал на Грачёва.

— Сколько лет вам?

— Тридцать один.

— Где работаете?

— Пока нигде, товарищ генерал. Вот в Донбасс приехал, может, в шахту пойду. Силенка-то есть пока.

— Силенка есть, — ворчал про себя генерал, — да вот рюмка поперек дороги встала.

— Рюмка-другая делу не помеха, — бодро отвечал Грачёв.

— Раньше и я так думал: пей да дело разумей. Да теперь-то вот вижу: армия пьяниц из умеренно пьющих формируется. Так, брат. Ну, да ладно. Рассказывайте, на какую шахту пойдете. Если надо, позвоню начальнику, попрошу за вас.

На редкость душевным, добрым, благородным человеком был Леонид Васильевич Фомин. Нелегко и хлопотно с ним работалось, но зато же сколько сердечного тепла и заботы обо всем на свете им излучалось. Бывало, уеду на несколько дней в другой город, или в село, или на шахту, а в приемную идут люди — и все к генералу. И каждого примет, будет звонить, хлопотать, требовать. И до тех пор не успокоится, пока не поможет человеку. Мне потом директор какой или управляющий трестом скажет: «Ну, генерал у вас!.. Насел на меня, как медведь». Обыкновенно не спрашиваю, в чем было дело, а говорю: «Да уж, он такой. На фронте себя не щадил и сейчас для людей ни сил, ни времени не жалеет». «Оно бы и хорошо, да грозитя написать в газету. Мы, говорит, вас пропесочим».

О военной настойчивости заведующего приемной доходили слухи и до руководителей области. Первый секретарь обкома молодой был, на фронте не воевал, но Фомина уважал. Однажды сказал:

— Есть авторитет власти, а есть власть авторитета. Если генерал позвонит мне и скажет по-военному строго, уверяю вас: не обижусь на старика.

Нечего говорить о том, как и сам я полюбил генерала; и всюду, как умел, старался помочь ему и выполнить все его просьбы.

— Что же будем делать? — обратился я к Грачёву. — Может, мы действительно вас на шахту устроим?

Знал я такие шахты, где борьба с пьяницами была суровой, полагал: там ему не дадут разгуляться.

— У вас в Донецке, — заговорил Грачёв, — наверняка есть спортивные общества, и там боксеры.

— Вот славная идея! — воскликнул генерал. — С его-то опытом!..

Дела отвлекли меня, и в Донецк я вновь приехал через две недели. Бывший боксер помогал тренеру в спортивном обществе «Горняк», получал хорошую зарплату и жил у генерала. Леонид Васильевич полюбил Грачёв, и супруга его Глафира Ивановна тоже к нему привязалась.

Боксер не пил; изредка встречая его то в приемной, то на квартире Фоминых, я любовался его трезвым и счастливым видом. Он был трогательно ласков и проявлял сыновнюю заботу о стариках, был всегда в спортивной форме, по моде одет и много рассказывал о боксерах, среди которых быстро завоевал авторитет и уважение. Председатель общества

сказал о Грачёве: «Удар у него уже не тот, но когда выйдет на ринг и станет показывать ребятам приемы борьбы, все чувствуют золотую перчатку».

Так, мне казалось, и устроилась судьба бывшего чемпиона. Однако не дремлют силы, несущие нам беды. В спортивном обществе появились и обиженные. И первым из них — бывший младший тренер Непран, которого за какие-то делишки уволили из общества. Где-то он прознал про «художества» Грачёва на Урале и стал шантажировать. Написал анонимные письма в несколько инстанций. Начались разбирательства. Грачёв терпел унижения, выдерживал травлю, как умел, отбивался,— один на один. В дрожь бросало от одной только мысли, что обо всем этом узнают в семье генерала. Непран, между тем, не открывал забрало, наоборот: сочувствовал, прикидывался другом. И все тянул Грачёва в ресторан, буфет, винный погребок. «Выпьешь — забудешься, душе нужна разрядка». В другой раз примется теоретизировать на эту тему: «Ты вот не пьешь, Грачёв, рюмки в рот не берешь, а твои питомцы употребляют. Выходит, ты чистенький среди нас, белая ворона. А того в толк не возьмешь: сейчас все пьют, и знают, что без водки прожить нельзя. Все дела решаются за чаркой вина».

Вместе шли домой. Непран у пивной изобразил швейцара, распахнул дверь, приглашая войти. Сердце Грачёва тревожно стучало, в голове будто пульсировало: «Выпью рюмку-другую и — баста! Допьяна не напьюсь. Бузить не стану».

Однако напился он, и до пьяна, и сам не помнил, как попал в драку. Кто-то его толкнул, ударил. Непран кричал: «Это он, Грачёв, Грачёв ударил парня!»

Не помнил и того, как очутился в вытрезвителе. Грачёв лежал в пустой, пропахшей спиртом комнате за плотно закрытой дверью.

Уехал он из Донецка. Фоминым прислал письмо, просил не судить его строго.

Уехал он в соседний небольшой город, где жили его бывшая жена с дочерью. Собственно, он и в Донбасс-то приехал ради них, да не так бы хотел к ним заявиться.

...На площадку межрайонного аэродрома приземлился небольшой двухмоторный самолет АН-24. Ирина Карповна Муравкина, геолог, прилетевшая домой из экспедиции, отделилась от толпы пассажиров и скорым шагом направилась к стоянке такси. Она не давала мужу телеграмму, не звонила домой — явилась неожиданно в новогоднюю ночь. Впрочем, до встречи Нового года оставалось ещё пять часов и она не очень торопилась. Перед въездом в город, в километре от директорского особняка, отпустила такси, пошла напрямик через пустырь.

С каменистых холмов Луганщины дул ветер с мокрым снегом. Ничто не напоминало новогоднюю ночь, и не верилось, что именно в эту ночь, на севере Красноярского края, откуда прилетела Ирина Карповна, лежит глубокий снег, и воздух недвижим, и в стальной синеве неба, кажется, высоко-высоко неверно и неярко горят звезды.

Молодая женщина прибавила шагу. В глубине сада горел огнями двухэтажный дом с двумя верандами и большим балконом по всему второму этажу. Это ее дом, ее уютное гнездо, где радостно хлопчет у праздничного стола ее дочь от первого брака Варя. И все время посматривает на дверь: вот сейчас войдет почтальон и принесет телеграмму от мамы. Ждет телеграмму, а Ирина Карповна явится сама — собственной персоной.

В правой руке Ирина несла чемоданчик, через плечо — сумку с подарками. Поклажа не тяжелая, и шла она весело и быстро.

Всей душой стремилась к дочери, только к дочери. Встреча с мужем тоже была желанной, но особой радости не сулила. Отношения с ним давно разладились, хотя внешне их можно было назвать нормальными.

На окраине города, где теперь был ее дом, она некогда, в студенческие годы, работала в экспедиции. Ей тогда повезло: на склоне Донецкого кряжа, в том месте, где гряда холмов стекает в каменистую равнину, студентка третьего курса Ирина Муравкина обнаружила

«несгораемый шкаф» — пласт редчайшего по крепости огнеупора. В институте назвали огнеупор в честь Ирины — Муранитом.

Ирина Карповна шла все быстрее. Не терпелось увидеть дочь. Омрачало ее одно неожиданное обстоятельство: в город приехал отец Вари — Константин Грачёв.

Дочь писала: «Михаил Игнатьевич встретил папу хорошо, поместил в гостиницу и оплачивает за него номер. Устроил на работу к себе на завод».

«Оплачивает номер», — с горечью и досадой, и с какой-то неосознанной обидой за свою первую любовь думала Ирина. «По-прежнему, пьет. Пьет и бездельничает» — заключила в сердцах и тут же решила: гнать его на Урал, положить в лечебницу — куда угодно, лишь бы с глаз долой.

Подсознательно стремилась к покою.

Ирина любила степь, простор, здесь она много лет жила, тут же так счастливо начала трудовую деятельность, знала каждый пригорок, ручеек, соловьиную балку. Она сейчас не испытывала никаких забот, мысли о минералах, структурах отошли на задний план; она была свободна. Ещё за несколько дней до Нового года оформила расчет. Начальнику сказала: «Всему свое время. Поеду преподавать или займусь научной работой».

Туча, сеявшая мелкий, незримый дождь, сползла на восток; весь небосвод открылся, и звезды засияли весело. Ирина Карповна ускорила шаг. Она знала, что где-то здесь, совсем рядом, должен лежать большой камень, древний, как сама степь, — тот самый, возле которого в памятный июльский день она заметила россыпь голубовато-дымчатой породы. Машинально, по привычке геолога, потянулась к ней, стала растирать между пальцами и ощутила колючую жесткость частиц. «Магnezит!» — мелькнула мысль. Крепчайший огнеупор! Его, как алмаз, ищут геологи всех стран. Капиталисты добывают его из морской воды. На берегу океана построили заводы, качают миллионы тонн соленой воды, выжимают из нее крупички огнестойкого вещества.

Ирина прислонилась к камню, поставила чемодан. Вдали пунктирной цепочкой тянулись огни самосвалов; они везли породу с рудника на обогатительную фабрику. Главные россыпи магнезита оказались в двух километрах от камня, под которым Ирина нашла драгоценный минерал. Там и построили рудник и фабрику.

Но что это маячит в темноте? Кто отделился от крыльца дома?

Подгоняемый ветром, человек словно летел над землей.

«Константин!»

Да, это он, бывший муж Костя, Костя Грачёв, — первая ее любовь, отец ее дочери.

Они разошлись давно, ей было двадцать три, ему двадцать восемь. Однажды утром после очередной пьянки мужа Ирина ему сказала: «Выпьешь ещё одну рюмку, я от тебя уйду». Два года Костя не брал в рот спиртного; он в это время кончал заочный институт физической культуры. Но однажды Ирина уехала в экспедицию — на полгода. Костя не удержался, выпил. Затеял скандал, попал в милицию. Его уволили из армии. Печальную эпопею Ирина узнала ещё там, в экспедиции. И написала мужу: «Своего обещания не забыла. Ты свободен. Устраивай жизнь, как хочешь».

Это было жестоко, но как она считала, справедливо.

Изморось рассеялась, и женщина вновь увидела силуэт человека. Да, конечно, это был он, Константин.

— Здравствуй! Варя ждет телеграмму, а ты вот... сама.

С минуту стояли молча.

— Поцеловать-то себя позволишь?

Поцеловал ее в щеку. Взял чемодан, и они пошли. У порога дома поставил чемодан, в дом не вошел.

Ирина сказала:

— Через час приходи, если хочешь. Вместе встретим Новый год.

На крыльцо выбежала Варя.

— Мамочка! Родная. Прилетела!

Кинулась на шею матери, а та подхватила ее, внесла в дом.

— А папа? Он тебя встретил?

— Встретил, доченька, спасибо. Ну, что он, как живет?

— Будто бы не пьет. Мам, ты об нас соскучилась? Не ездь больше в экспедицию. А?..

— Что же ты мнешь мою прическу, дурочка.

Подошла к окну, раздернула шторы.

Ветер отнес дождевую тучу к Азовскому морю, и новогодняя ночь засияла звездами. По степи, обозначая рядки домов, потянулись нити неярких красноватых огней. Так в пору страдных ночей светятся на полях фары тракторов и автомобилей или на море огни рыболовецких шаланд. Иной человек и смотреть не захочет на степь. Да ещё ночью, в ненастную погоду,— что за невидаль? Где тут задержаться глазу?.. Зато же как много говорят окутанные полумраком бесприютные дали Ирины.

— Что отчим? Как вы с ним? — приглушенно, словно боясь нарушить тишину, спросила Ирина.

Варя ответила не сразу и неохотно:

— Я люблю папу.

— А Михаил Игнатьевича? Он порядочный человек. Да, да, доченька, он хороший. А ты, Варюха, невестой стала.

— Мам, а Михаила Игнатьевича переводят в Ленинград. На повышение. Он будет директором объединения. Надеюсь, и тебе там найдется место?

— Конечно, доченька. Мы будем жить в Ленинграде.

— А папа? Он мне обещал. Он клятву дал — бросить пить.

— Хорошо бы, да только я уж не верю. Клялся он — и не однажды.

— А мне вот ни разу не давал обещаний. Я верю, мамочка. Отец у нас хороший и — сильный. Он чемпионом был!

— Был, доченька, был. Я тоже верю, хочу верить. Он же и мне не чужой.

Грачёв постоял с минуту у крыльца и направился было к гостинице, но тут из-за угла дома выкатила машина, и шофер, высунувшись из кабины, перед самым носом Кости взмахнул рукой:

— С Новым годом!

И потом, приглядевшись, добавил:

— Я думал, Петр Ефимович. А вы кто будете?

— Грачёв моя фамилия.

— А-а... Слышал. Петр Ефимович говорил.

В слабом свете, лившемся из окон дома, Грачёв не мог разглядеть его лица, не сразу сообразил, что громоздящаяся на голове копна — не что иное, как из меха рыжей лисы шапка, а черное кольцо у рта — вислые гуцульские усы. Шофер был изрядно пьян и тревожно озирался, ища кого-то глазами.

— Подарки директору привез. Вон елка в кузове, ящики, мешки, банки... Позови Петра Ефимовича.

Достал из кармана листок.

— Подпись нужна. Все чин по чину, сдал из рук в руки. Ефимыч нужен — он тут заправила.

— Да ты в дом войди.

— В дом? Не, не надо. Мне мой шеф, председатель колхоза, сказал: Ефимычу все сдай, а то, если сам директор увидит, назад отошлет. Не любит он наших подношений. А Ефимыч — ничего, он все примет. Он у них вроде завхоза. И ключи от погреба у него.

— Что за председатель? Откуда ты?

— Ах, голова! Чего добираешься! Ищи Ефимыча — и все. Подшефные мы — из колхоза.

Грачёв взошел на крыльцо, позвонил. Вышла Варя.

— Мам, дед Мороз приехал! Елку привезли!

В накинутой на плечи шубке вышла на крыльцо Ирина, кивнула шоферу:

— С Новым годом!

— Мам, смотри, что нам Григорий Максимович прислал! Там елка, а вон арбузы. Пап, принеси арбузы. И мед, и виноград.

И когда Грачёв втащил в дом дубовый бочонок с медом, два арбуза и ящик с виноградом, Ирина подала ему ключи, сказала:

— Пожалуйста, сгрузи все в погреб и сложи там как следует.

Говорила торопливо и как-то суетно, нетерпеливо взмахивала руками, словно в кузове лежало что-то нечистое, от чего надо поскорее избавиться.

В бочке было килограммов пятьдесят меда, Грачёв едва взвалил ее на плечи, а когда вышел из дома, машина стояла у ворот гаража. Ирина попросила и бочку с медом отнести в погреб.

— Открывай гараж, там и погреб.

Через всю усадьбу Грачёв тащил бочку, чувствуя через ткань плаща и своего единственного костюма холодящую влагу. Ему и вообще нехорошо было сознавать себя в положении грузчика, человека для мелких поручений, готового исполнить любую просьбу хозяев. «Хозяева!» — слово обидное и унижающее.

Открыл гараж — здесь стояли две новеньких «Волги». Одна Очкина, другую, белую, он подарил жене года два назад в связи с присуждением ей звания доктора геолого-минералогических наук. Тогда у них были ещё хорошие отношения.

— А ну, дайте мне ключи!..

Из-за спины протягивал руку неожиданно появившийся Петр Ефимович, старик с неприятным визгливым голосом. Он служил дворником соседнего двенадцатиэтажного дома и по соглашению с Очкиным наблюдал директорскую усадьбу, обихаживал сад, подметал дорожки.

Тихо и злобно он ворчал на шофера:

— Пьянь немытая! К ноябрьским праздникам фрукты привозил, тоже на ногах не стоял. Куда только гаишники смотрят?

— Ефимыч, уймись! Бутылочку армянского презентую в честь Нового года! Опять же маслица постного бидончик. Медку майского... Помнил о тебе, не забыл!

Старик продолжал ворчать, будто бы не замечая пьяную болтовню водителя, однако в голосе его и в самом тоне вдруг зазвучали нотки примирения и тайной благодарности.

В левой стене гаража с внутренней стороны заподлицо была вписана металлическая дверь. Два хитрых ключа с веселым звоном открыли замки — дверь распахнулась, свет автоматически включился на лестнице, ведущей в глубокий и просторный бункер-погреб. Грачёв знал о существовании погреба, здесь ещё в прошлом году бригада слесарей монтировала списанную в городском ресторане холодильную установку. Сейчас ему открылось большое помещение со сферическим потолком, с полом и со стенками из бетонных плит, с длинным дубовым столом посередине. По бокам стола — стулья с высокими спинками, тоже дубовые, массивные — на манер тех, что в театральных декорациях стоят в боярских хоромах. На крючьях, вмурованных в бетон потолка, — малиново-мясистые окорока.

— Митяй, Костя! Тащите новогодние дары!

— Подсобил бы нам, Ефимыч! — сказал Митяй.

— Радикулит меня крючит. В дугу согнул.

Грачёв первым пошел вверх по лестнице. Помог Митяю откинуть борт кузова, стали сгружать ящики, бутылки. Пьяный Митяй с трудом закидывал на плечо ящик с яблоками, на спуске качался, едва попадая ногой на приступку. Грачёв играючи вскидывал на плечо пудовый ящик, прихватывал в руку бутылку, сбегал по лестнице. Ефимыч показывал, что и куда ставить.

Нехорошо и скверно было на душе у Грачёва. «Как это просто у них, — думал об Ирине и Варе, — легко и просто. Будто я работник или шабашник какой. Сказали так, как говорили на товарных базах: ”Эй, вы, ребята! На водку хотите заработать?“ И падшие люди —

пьяницы, вышвырнутые с работы прогульщики, почесываясь, принимаются грузить тяжеленные ящики. У них одна цель, одна забота: сшибить на бутылку, тут же ее осушить, закусить, а дальше — ничего. Их мысль и фантазия далеко не идут.

Грачёв и сам бывал в подобных, стихийно возникавших бригадах. Однако же больно страдала в такие минуты совесть. И страшно было, и мерзко, и не было хода со дна этого отвратительного колодца.

Горько вдруг сделалось на сердце и теперь.

Сгрузив последний ящик, объявил:

— Шабаш! Я вас покидаю.

— Эй-ей, браток! — вскричал Митяй. — А Новый год? Э, нет! Мы тебя сухим не пустим.

Схватил за руку, потащил к столу. Ефимыч молча, деловито хлопотал над ящиком. Отодрал доску, вынул из стружек бутылку коньяка. Из холодильного ящика с температурой +6 достал две бутылки шампанского. Появилась черная икра, балык, розово-малиновые куски ветчины. И яблоки, и гроздья винограда, и арбуз.

Грачёв не сдержал удивления:

— Арбуз-то откуда? Неужели до января хранятся?

Сказав, что выйдет на минутку, Грачёв устремился вверх по лестнице. Он твердо решил: ни грамма не выпьет и в трапезе участия не примет.

Тропинка вела к дому, там, у крыльца, сворачивала, выводила к калитке. Весь директорский особняк, оба этажа были освещены. Из открытых форточек звучала музыка. Костя невольно задержал шаг возле окон в надежде увидеть силуэты празднично одетых Ирины и Вареньки. И он уже сворачивал за угол, как в глаза, ослепив до боли, ударили фары машин. Он отошел в сторону, но машины — их было две — не проезжали. Из них чинно выходили мужчины и женщины, раздался голос Очкина:

— Прошу в дом!

И Очкин, увлекая гостей, поднялся на крыльцо. В свете яркого фонаря увидел Грачёва, но не кивнул, не поздравил с Новым годом — прошел мимо. И это усилило горечь, вздыбило горячую волну обиды. Дверь коридора хлопнула, и он видел, как заполняли комнаты особняка нарядно-воздушные женщины, черные, как грачи, мужчины. Среди гостей в сиреневом платье с бриллиантовым кулоном на груди, стройная и молодая, летала Ирина. Не сразу узнал Константин свою дочь. Ей было пятнадцать лет, но она казалась взрослой девушкой. В темных волосах сбоку над ухом блистала то ли заколка, то ли цветок. И вид этих дорогих существ, сияющие радостью и довольством лица как-то вдруг отодвинули все печали, и только что кипевшая обида вдруг сменилась ясным и четким сознанием их правоты, логичности и естественности их поведения, — и отношения к нему, восприятия его, как человека из другого мира и как бы сделанного из другого теста. «Ты сам выбирал свою дорогу, ты хотел такой жизни, ты ее получил», — слышал он укоряющий голос Ирины. И от наплыва таких простых, все объясняющих и все примиряющих мыслей, от такого неожиданно скорого и простого решения сложных и, казалось бы, неразрешимых вопросов, ему сделалось легко и приятно, из него как бы в одну секунду вышел стеснявший грудь воздух, — он повернулся и зашагал к погребу, к ожидавшим его товарищам.

Подземелье теперь напоминало старинный кабачок или корчму. Двое бражников сидели за обширным столом — один разливал по рюмкам коньяк, другой, Митяй, покачивал соломенно-рыжей головой со свалывшимися под шапкой волосами, и тихо напевал:

Мое горюшко, как морюшко,
Не видно берегов...

Заметив Грачёва, всплеснул руками:

— Костя! Садись. Вот так, ближе. Проводим год минувший. Теперь он старик, с бородой, вон как Ефимыч. А если сказать правду, хулить его не за что. Сыночка мне послал, а по

лотерею я транзистор выиграл. Мог бы и «жигуленок» выпасть, да нет, номер не совпал. Так за него что ль, за старый год?

Они, видимо, выпили, и не по одной. Ефимыч тоже кивал, поднимая рюмку. Рука его подрагивала. Взгляд посветлел. Складки на усохшем лице распустились.

— Ещё один годочек прожили, слава Богу!

Держал на уровне носа рюмку и не замечал, как мелко предательски дрожит рука. И сам он какой-то стылый, замерзший и весь подрагивал, точно все нервы у него воспалились от долгой борьбы с невзгодами. И глаза Ефимыча цвета знойного белесого неба хотя и мирно смотрели на Грачёва, но таили в себе вопрос: «Зачем ты здесь?»

Митяй первым опрокинул рюмку — крикнул, вытер рукавом рот, принялся есть.

— Вы того, братцы, поскорей, — уминал он черную икру. — Не то войдет хозяин.

— Ты за рулем, тебе пить нельзя.

— А ты, Ефимыч, не блажи. Я тут пустырем, краем города живо проскачу.

Он проворно налил и выпил.

— Они, гайшники, чай тоже люди. Новый год встречают.

— А хозяин наш, — продолжал Ефимыч, — он сюда не придет. Он твои яблоки считать не станет. Кончатся — привезут.

Ефимыч после очередной рюмки и совсем другим человеком стал. И глаза его в узеньких щелочках хитро не бегали; в них огонек жизни заиграл.

— Ирине Карповне тоже дела мало. Одна Варя сюда частенько бегают. Вы, говорит, дедушка, главный хозяин у нас. Нет ли апельсинчиков тут или мандаринчиков? А пуще всего ананасы любит. В позапрошлом годе их к нам в город целый вагон завезли, так Васька, шофер директорский, прямо с базы три ящика привез.

— С десяточек, чай, и ты прихватил. А, Ефимыч? — осклабился Митяй, наливая деду коньяк.

— Дура ты, Митяй, бесподмесная! Язык-то у тебя точно веретено в руках молодухи. Михаил Игнатьевич верит мне, как отцу родному, потому — знает: без спросу яблока с полу не возьму. Я и на заводе складским делом ведал. За мной репутация, авторитет.

— Знаем мы твой авторитет: деньжонки от государства сполна получаешь — и пенсию, и окладик, а на дворе казенном палец о палец не стукнешь. Ах, Ефимыч! Ты вкус к жизни после пенсии постиг. Прежде-то торчал в складе железных изделий, а там, известное дело, гайки и винты разные — не ананасы, их не угрызешь. Иное дело теперь, ты здесь как сыр в масле. Налей-ка ещё! Что бутылку под стол суешь!..

— Довольно, Митяй, не дам больше.

— Вот те на! Я ему три ящика вина привез, подарков гору, а он — не дам!

— На дворе темень — то снег сыпанет, то дождь. Как домой поедешь?

— Не твоя забота. Налей, говорят! — И — к Грачёву: — Он что, сдурел? Моего же вина не дает. Повлияй на деда. Ты, как я слышал, тоже вроде хозяина тут. Только отставной.

— Митька, черт! — вскинулся дед. — Прикуси язык. По шее схлопочешь.

— Я по шее не бью, — выдохнул Грачёв, подавляя усилием воли хлынувшую под сердце ярость и ниже над столом склоняя голову. — Я под дых, так чтоб уж сразу... язык проглотил.

Он тяжело дышал и думал только об одном: не сорваться бы с тормозов и не двинуть бы эту шмокодявину, как он сейчас в мыслях презрительно называл Митяя. А Митяй, видя его грозную, дышащую гневом фигуру и каждой клеткой чувствуя в нем страшную силу, заюлил хвостом:

— Уж ладно, я так... ничего. Ты, Ефимыч, дал бы нам по рюмочке.

Но Ефимыч, почувствовав неладное и желая избежать бузы, одну за другой спрятал под стол бутылки, весело и беспечно продолжал беседу.

— Ты, Митяй, получше других устроился в своем колхозе. Оседлал разгонную машину, день и ночь она во дворе у тебя, — почитай, лучше собственной. Кому дровец подкинешь,

кого в город подвезешь — чем не житье! У нас нынче многие так устроились. Числится на службе у государства, а линию свою гнет, семейно-домашнюю.

— А председатель? Он разве не видит, слепой, что ли? — Костя вступил в беседу, надеясь заглушить обиду.

— Как не видеть! Глаза и у него есть,— распаялся в красноречии Ефимыч.— Да и Митяй, не гляди что простак, а и он практический ум имеет. Нет-нет, да сунет председателю сотню-другую.

— Ну-ну! Ты, Ефимыч, ври, да не завирайся. Это ты все свои дела от глаз людских прячешь, а я если и сдаю деньги, так говорю председателю: «На, оприходуй!» Машина колхозная, и я человек общественный — денежки в кассу сдаю, чин по чину.

— А ты уверен,— заговорил Грачёв, совсем оттаявший от гнева и с любопытством вникавший в щекотливую беседу: интересно было знать, как действуют хитрые люди,— уверен, что председатель того... сдает деньги в кассу?

— А я не ревизор, и не следователь, мое дело крутить баранку.

— Хе-хе! — покачивал головой вконец захмелевший Ефимыч.— Механика! Мы за семь десятилетий вон как отработали хитрую машину обирания государства. Растащиловкой зовут ту машину. Все тащат, и некого вором назвать. Все умненькие, чистенькие, и чем умнее, тем больше тащит.

— А ты всех-то в одну кучу не вали,— вновь стал заниматься злобой Грачёв.— Я, к примеру, ничего не тащу.

— А тебе и не нужно,— вскинулся Ефимыч.

— Как это не нужно! Я, выходит, не человек, не живой, что ли?

— Живой, живой, но ты без потребностей. Есть такие, ровно пташки небесные. День прожил — и слава Богу! А если водочки стаканчик — то и совсем хорошо. Они ещё и дело сделают, какое ни на есть. Один доску обстрогает, другой детальку обскоблит, третью, вот как мы, ящички, мешочки разные по местам расставят. Кораблик-то государственный и плывет. Дымок из трубы валит, машинки внизу постукивают. И толкают этот кораблик и с боков и сзади все больше такие вот... без потребностей. А есть ещё и такие люди, вроде хозяина нашего Очкина Михаила Игнатьевича. Эти в сторонке стоят, за порядком смотрят. Если ты, скажем, расшалился не в меру, у них для тебя управа найдется. Нет, тут, брат, все отлажено, и лишнего ничего нет.

— Ну, а коммунизм? — вопрошал Грачёв, решивший до конца познать науку хитрой жизни, о тайных механизмах которой он, кстати, редко задумывался.

— Коммунизм? — откинулся на спинку стула польщенный вниманием Ефимыч. Глаза у него зажглись вдохновенной мыслью.— Коммунизм построим! Куда он денется, мы его непременно соорудим, но только надо хорошенько рассчитать, определить количество людей, которым он нужен. Вот давай прикинем: Очкину он нужен? Пожалуй, нет! Разве можно придумать такой строй, при котором бы ему было лучше, чем теперь? А ему вот, Митяю, нужен коммунизм? У него тогда машину отберут, работать заставят, пить не разрешат... Ну, так как, Митяй, пошел бы ты в коммунизм?

— Погодил бы малость.

— А теперь тебя возьмем. У нас, говорят, таких, как ты, сейчас сорок миллионов человек.

— Каких это таких? — зарычал Грачёв.

— Ну, ну — полегче. Чуть слово скажешь, ты готов голову проломить.

— Ладно, говори,— смирился Грачёв. Очень ему хотелось знать, как люди смотрят на него со стороны.— Так сорок миллионов, говоришь? Пьющих, что ли? Не очень к жизни этой приспособленных, неухватистых.

— Положим, так. Пьющих, сильно выпивающих.

— Пьяниц, хочешь сказать.

— Ну, так, пьяниц. Им, скажи, нужен коммунизм? Ведь при коммунизме, я так думаю, сразу эту... — он пощелкал пальцем по бутылке,— выпускать не станут. При коммунизме

работать надо. Труд — первая потребность. Слышишь, труд, а не водка. Так что ты скажешь, если он приближаться станет... коммунизм?

— А то и скажу: пусть быстрее приближается. Не жалко мне расставаться с заразой этой.

— Тебе не жалко, а другим... тем, что по утрам у магазинов толкуются. С ними как?

— Давить их надо, как клопов! — буркнул Грачёв.

— Вот тебе и раз!

— Ладно, старик! — хватил Грачёв кулаком по столу. — Я бы за такие речи!..

Шаркнул стулом и, не простившись, двинулся к выходу.

Оставалось минут двадцать до Нового года, ветер стих, небо очистилось, — теплая, почти весенняя нега царила над миром. В доме горели огни, музыка и голоса доносились негромкие. Кто-то говорил, другие слушали. Грачёв обогнул угол дома и отсюда увидел все общество: гости сидели за столом и Очкин, поднявшись со своего заглавного места, произносил речь, — видимо, заздравную, в честь уходящего года. Одно окно было настежь открыто, и Грачёв хорошо все слышал. Очкин говорить горазд: не спеша отвечивал каждое слово, подолгу задерживал взгляд на сидящих.

— Да, мы уезжаем в Питер, я не хотел, но интересы дела требуют и мы повинемся. Оставляю вам завод, крепко стоящий на ногах. Прошедший год был для него переломным...

Грачёва дернули за рукав. Он вздрогнул, повернулся: за спиной стоял Ефимыч, кивал на Очкина:

— Ему нужен коммунизм? Нужен?..

Старик хихикал, словно бес, и тянул Костю за руку, точно падал и хотел задержаться. Костя, выпрастывая руку, пытался сбросить старика, оттолкнуть, но тот, видимо, сильно захмелел и не мог держаться без опоры. Грачёв в эту минуту был полон мрачных, тягостных раздумий: «Не позвали, не зашли, не поздравили. И Варя, родная дочь...» А Варя сидела рядом с матерью, жалась к ней и счастливо, влюбленно — именно, влюбленно! — смотрела на отчима.

— Ты мне скажи, — тянул за рукав Ефимыч, — я тебя спрашиваю: разве им нужна иная жизнь? Разве им плохо?..

Грачёв хотел толкнуть старика, но тот ещё крепче вцепился в рукав куртки, и тогда Грачёв, не помня того, что делает, схватил Ефимыча одной рукой за шиворот, другой — за ноги, поднял над головой и... — что есть мочи швырнул в кустарник. Удаляясь, слышал испуганный крик. Прибавил шаг в направлении гостиницы.

«Не сдержался. Опять натворил!..» — билась тревожная мысль, а сердце часто и гулко стучало.

Вернувшись в гостиницу, Грачёв не стал включать свет, не раздеваясь, бросился на кровать. Лежал, закинув руки за голову. Вспомнил, что в кармане бутылка коньяка, — украдкой прихватил из ящика, — сунул ее под подушку. С первого этажа из ресторана доносились звуки музыки, шарканье танцующих пар. «Там елка, народ — пойти, что ли?» Но тут же он эту мысль оставил и решил, что будет один в пустом холодном номере встречать Новый год. И выпьет бутылку — тоже один, как самый последний алкоголик, добывший с великим трудом горячительную влагу, жадно прижимающий бутылку к сердцу и со страхом озирающийся вокруг себя, бегущий от людей, от каждого, кто может попросить, отнять его сокровище.

Достал коньяк, поставил на стол. Подошел к окну, встал у косяка. Из темной комнаты пятого этажа видел перед собой всю в огнях центральную улицу, сбегавшую красивым изгибом с древнего степного холма к вокзальной площади. Видел дом-башню и невдалеке от него особняк Очкиных. Он весь в огнях, и даже видны окна. И чудятся ему тени людей — дорогих двух живых существ — Ирины и Вари. Нет к бывшей жене своей ни злобы, ни желания мести. Во всем винит себя, только себя. И чем дальше, тем больше.

Вот и сегодня: ещё полчаса назад под сердцем кипела обида: не поздравили, не позвали в дом. Но разве можно принимать меня всерьез? Схватил человека и бросил в кустарник! Не

просто хулиганство, а дикое, дичайшее сумасбродство. А ну как голову разбил старик, ноги поломал, руки?.. Сейчас явится в номер милиционер, а там суд, тюрьма... Кого же ты винишь, садовая голова? Скажи спасибо уж за то, что они тебя не гонят!

«Я от них уеду и на горизонте их жизни больше не появлюсь. Никогда!» — давал себе слово Грачёв.

Вспомнил, как несколько лет назад он сказал: «Я пустой человек, никчемное существо». В то время ещё не было осознания безраздельной вины перед Ириной. Ему казалось, она поступила подло, бросила его в беде и устремилась к другому — к иной, более красивой и обеспеченной жизни. Но потом, потолкавшись среди рыцарей бутылки, он увидел их лицо и стал осознавать себя, и по-иному стали представляться его собственные поступки. Как старый артист, уединившись в уборной, снимает грим и видит в зеркале сеточку частых морщин под глазами и пухлые, нездоровые складки, и предательски отвисший подбородок — и горькие думы о старости вдруг отразятся в его усталых, некогда блестящих молодым задором глазах... Так и он, Константин Грачёв, толкаясь у прилавка винного магазина, высматривая знакомых дружков, вдруг и себя увидел как в зеркале. И вздрогнул, встрепенулся от холодящих душу предчувствий. И сказал себе: «Да, я пуст и ничтожен!»

Тихо, одним только сердцем, он плакал. Являлось неодолимое желание видеть Ирину и Варю.

Падал снег на город. Белая сетка протянулась с неба на дом-башню, на особняк Очкиных. Раздался бой часов на городской башне. Грачев, очнувшись, взял за горлышко бутылку, поднес к самым глазам и — отставил на край стола. «Пить одному? Сосать из горлышка?» Разделся, лег в постель. Снизу громче раздавалась музыка, доносился топот танцующих. Грачев спокойно и как будто даже с удовольствием слушал все нараставшие звуки новогодней ночи.

Спать не хотелось. Светло и с тихой радостью думалось о жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дача у профессора Бурлова большая: два этажа, две крытые веранды, много комнат, но опустела на время она; жена с сыном уехали в Горловку к родственникам. Одному жить на даче тоскливо, но природа манит, да и хозяйство зовет, вот он и приглашает к себе то коллегу-ассистента с семьей, то приятеля, а то и просто — как теперь вот — нового знакомого.

Профессор поселил Грачёва в угловой комнате второго этажа и перед сном, около полуночи, зашел посмотреть, как он устроился на ночлег. По привычке врача присел на край кровати.

— Хотел с вами посоветоваться. Я, знаете ли, хочу предложить сотрудникам клиники отказаться от спиртного. Совсем, начисто. Как думаете, поддержат ли меня мои коллеги?

Грачёв приподнялся на подушках, слегка пожал плечами. Решительно не знал, что сказать профессору — он вообще не считал себя вправе обсуждать эту тему.

— Вижу, не разделяете мои убеждения, — напрасно. Хотелось бы в вас видеть союзника. Вы молоды, в прошлом знаменитый человек — хорошо бы и вам подключиться к борьбе за трезвость.

— Может, не так сразу.

— Ну, вот — и вы туда же: полегче да не так сразу. Сказывается врожденная деликатность русского человека. Не пережать, не обидеть пьющих — ведь их миллионы! А мне не до сантиментов. У меня профессия иная; я каждый день встречаюсь с людьми, которые стоят на грани жизни и смерти. Ещё самая малость, один слабый толчок — и человек упал в бездну. Смотрит такой на тебя с мольбой: «Помоги! Любой ценой спаси!» — кричит каждая его клеточка. Больше полстолетия я стою у операционного стола, случалось, по

несколько операций в день делал, и могу сказать по опыту: каждый четвертый из попадавших мне на стол был поражен чертовым зельем — вином или табаком. Надеюсь, вам теперь ясно, откуда идет моя категоричность.

— Я то вас, Николай Степанович, готов понять, но другие? Не представляю, как это совсем отказаться от вина. Ну, положим, я, или там другие, как я — мы пить не умеем, а те, кому вино в удовольствие, кому оно радость жизни составляет. Таких-то ведь много, все разумные, интеллигентные люди — весь народ, можно сказать! — им-то вроде и ни к чему радости себя лишать.

Уверенность и достоинство читал профессор в глазах Грачёва, спокойных, добрых, внимательно изучающих. «Какой же он пьяница? А что, если наговаривает на себя?..»

— Вы сколько лет пьете? — спросил Бурлов.

— Я, Николай Степанович, давненько балуюсь этим зельем, — лет этак пятнадцать, да только не так как другие — с перерывами. Иной раз и год, и два к рюмке не притронусь: боюсь, как огня, проклятую!

— И хорошо! То есть, то хорошо, что перерывы у вас большие. Мозг и психика, может, и задеты, но лишь в слабой форме, клетки не подверглись разрушению.

Взор Грачёва при этих словах помрачнел, глаза сузились. Он невесело улыбнулся и с ноткой обиды произнес:

— Ну, так уж... и задеты. Все вокруг меня пьют больше и чаще — так что же: у всех у них мозги попорчены? Вон Очкин, например. Он, правда, пьет умело, хмель у него лишь в глазах заметишь, но зато часто, едва ли ни каждый день. Таких-то, как Очкин, умеренно пьющих — миллионы!.. Если б оно так, как вы говорите, по улицам бы одни идиоты ходили.

Бурлов заметно смутился, потупил взгляд. Неловкой фразой своей он больно задел самолюбие Грачёва. Как опытный педагог понял: сообщил информацию, к которой не был подготовлен слушатель. И решил исправить положение: просветить Грачёва.

— Разумеется, доза выпитого имеет значение, но спирт не выводится из нас как все другие вещества; компоненты его идут в кровь, в клетки — держатся там двенадцать-четырнадцать дней. Инеродный, вредный элемент! Представьте теперь, если человек отравляет клетки каждый день — они непрерывно борются, и на то уходит большая часть потенции организма. Посмотрите на пьющего регулярно: в молодости он весел, неистощим на шутки, выдумки, но потом сникает: становится скучным, сумрачным, а затем и злобным.

— Если так, то Очкин — более пьяница, чем я! — проговорил Грачёв. — Он сам признавался: я пью тридцать лет, но знаю меру. Никто и никогда не видел меня пьяным — пью культурно. Ирина, жена его, мне говорила: «Прежде Очкин горел на работе, был добр, покладист, теперь на всех зверем смотрит».

— Вот-вот, и я заметил: жестковат Очкин и будто бы недоволен всеми. У него, мне кажется, оттого и нетерпимость ко всем пьющим. «Пьяница — не человек, таких не лечить, а пинка им и на свалку». М-да-а... Суров Очкин. Между тем, сострадание к людям суть первая черта совестливости и благородства.

Грачёв не питал к Очкину ни зла, ни зависти. Не винил он его и в своей семейной драме, — в конце концов, он сам толкнул Ирину в его объятия. Теперь же должен был признать: и в новой жизни его семья не обрела счастья. Очкин не любил Ирину. Он к Варя относился неплохо, но лишь как умный здравомыслящий человек. Так думал Грачёв. И так оно и было, но только до конца психологию Очкина ни он, Грачёв, ни Варя, ни Ирина понять не могли. Профессор приоткрывал завесу: характер Очкина, его мироощущение менялись под воздействием алкоголя. Хмель сушит душу, снижает уровень сознания и совести, притупляет чувства.

Пьющие люди не любят разговоров о воздействии вина. Никто из них не считает себя пьяницей. И если такому говорят о вреде алкоголя, он скажет: «Да, конечно, вы правы, но напрасно адресуете ко мне свои сентенции. Я выпиваю, и частенько, но не до такой

степени, чтоб беспокоиться о моем здоровье. К тому же, сегодня я пью, а завтра брошу. Стоит мне захотеть...» И если даже он допился до красных мух и галлюцинаций, то и тогда, в минуту просветлений, скажет: «Да, верно, вчера перебрал, даже красные мухи летали перед глазами, а из-за двери кто-то выглядывал и грозил мне пальцем. Дело дрянь, конечно, нельзя так упиваться, но воспитывать меня и тем более лечить — незачем.

Профессор увлекся, словно репетировал свой будущий доклад на собрании в клинике.

— Пьяница и физически быстро меняется. Приглядитесь. Нет, вы только присмотритесь внимательно. Ещё недавно его походка была легка и пружиниста, взгляд тверд, спокоен — говорил не торопясь, и каждое слово к месту. Был скромн, даже застенчив. Держался прямо, плечи вразлет... А теперь? Во всем огруз, отяжелел. В речах, жестах, во всем поведении появилась развязность, налет циничной бравады, пошловатого скепсиса. И вся его фигура приплюснута, припосажена. Движения суетны. Могут сказать: возраст! Но нет, с возрастом у человека все его достоинства как бы шлифуются, к прежним, природным прибавляются новые, благоприобретенные. И даже глубокая старость, как правило, не умаляет, а лишь подчеркивает в человеке его бывшее величие.

— Все так, все понятно,— заговорил Грачёв окрепшим голосом.— Я сам довольно настрадался от водки, можно даже сказать — через нее потерял все: жену, любимое дело, друзей. И все-таки, надо быть реалистами. Нельзя с этим злом покончить разом, одним ударом. Попробуйте вы сыграть свадьбу без вина, отметить день рождения.

— Да, да, к сожалению.

Николай Степанович пожелал гостю спокойной ночи. И удалился в спальню.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ХОДУ ПОВЕСТИ

Обыкновенно всякого рода комментарии, разъяснения к сказанному, случайно оброненному, вдруг увиденному и услышанному — удел маститых специалистов, именитых умов. Мы решили отойти от этой традиции. Автор хотя и не знаток медицины, едва постиг азы хитрой науки психологии, но на своем веку и он повидал «обычай многих людей», исколесил немало дорог, сменил много профессий: был токарем, строгальщиком по металлу, летчиком, артиллеристом, журналистом, жил в деревне, городах больших и малых, живал и в других странах. И коль мы уже завели разговор на столь важную тему, было бы непрослительно не поделиться с читателями и собственными наблюдениями. Вот почему по ходу повести я решил отвлечься от сюжета и вспомнить эпизоды из своего опыта.

Профессор высказал любопытную и странную в своем существе мысль: алкоголь, если употреблять его регулярно в течение примерно двадцати лет, разрушает в человеке все самое святое и возвышенное, саму личность. Приводил высказывания выдающихся людей. Добавим к этому, что в литературе встречаются свидетельства, с удивительной точностью предвосхищавшие нынешние выводы ученых. Вот Герцен в «Бывое и думах» вспоминает о кончине своего отца, о том, как он, став наследником имения, решил отпустить на волю крепостных слуг своих. «Я начал с того, что поместил в список всех до одного из служащих в доме. Но когда разнесся слух о моем листе, на меня хлынули со всех сторон какие-то дворовые прошлых поколений, с дурно бритыми седыми подбородками, плешивы, обтерханные, с тем неверным качанием головы и трясением рук, которые приобретаются двумя-тремя десятками лет пьянства...»

Прочитав этот отрывок, я вспомнил своих коллег-журналистов, друзей и приятелей по работе в газетах и журналах. Иные из тех, коим было за пятьдесят, как-то устало трудно держали голову; она то клонилась у них в сторону, то подергивалась. У таких и руки не могли твердо держать ручку. Не понимал я тогда, не ведал причин такой всеобщей разбитости. А все дело в том, что руки их на протяжении двадцати-тридцати лет почти ежедневно прикладывались к рюмке.

Вспоминаю теперь: из этих, впавших в вечную дрожь и тряску, мало было цельных, трудолюбивых. Обыкновенно они в смутных томлениях бродили по коридору редакции, любили предаваться воспоминаниям и, как правило, на все лады проклинали журналистскую работу, «заевшую» их жизнь, не давшую развернуться их «литературному таланту». Истинных причин своей внутренней драмы они не видели или не хотели видеть: во всем винили газету — существо неодушевленное, не могущее им ответить. И теперь, вспоминая свою молодость, вижу вокруг многие трагические следы зеленого змия.

В начале 1943 года я был командиром огневого взвода фронтовой зенитной батареи. Некоторое время командиром батареи был у нас старший лейтенант Бородин, любитель выпить. На одной станции мы нашли разбитую цистерну со спиртом, комбат приказал наполнить два имеющихся у нас бидона. Фронтовых сто грамм нам, артиллеристам, не давали, достать водку или самогон было негде — вот комбат и решил восполнить этот пробел. Перед боем для смелости стали давать бойцам по четверти стакана синеватой, вспыхивающей от спички жидкости. Офицеры, рисуясь перед солдатами, глотали спирт целиком, то есть не разбавляя водой. Синее зелье, словно раскаленный уголь, медленно скатывалось по глотке к пищеводу. Теперь-то каждому школьнику известно: спирт обжигает слизистую оболочку, надолго выводит ее из строя. И если это повторять часто, тут и все болезни — рак и что угодно. Но тогда...

На горизонте появился батальон вражеских танков. Как раз был обед, и комбат распорядился выдать спирт. Все выпили, кроме меня. Я был молод, и, понятно, мне не нравился вкус этой отвратительно пахнущей жидкости. Но самое главное опыт... Опыт, который чуть было не стоил мне жизни. Это было в пору, когда я окончил летное училище и перед первым своим боевым вылетом получил «сто грамм». Пятьдесят граммов спирта!.. Будто «рот заливали свинцом и оловом», глаза чуть не выскочили из орбит, но самое страшное было впереди. Самолет, всегда такой послушный в учебных полетах, взбунтовался. И мои какие-то ватные ноги и руки не могли с ним совладать. Руки, ноги, ещё куда ни шло, вот голова... Голова куда-то плыла, все реакции замедлились.

Как мы посадили самолет, одному Богу известно. И уже потом, когда твердо, широко расставив ноги, стоял на такой, до боли родной Земле, понял: это мое новое рождение. И тут я принял решение: перед боем — не пить!

...У черты горизонта — танки. За каждым при рассмотрении в бинокль угадывались другие. Шли гусиным строем. Пушкари заняли боевые места, таращат осоловелые глаза. Я рассчитывал координаты: угол места целей, азимут. Подал команду: один залп, другой...Снаряды поднимали столбики земли, но все мимо. Снова залпы. И снова мимо. Танки развернулись и скрылись в тумане. Мы все молчали, удрученные неудачей. Орудийщики винили меня, подозревая ошибку в расчетах, а я винил наводчиков. Однако, не исключал и своей ошибки, а потому и не решался их бранить. Командир же батареи кричал на всех сразу: «Мазилы! Вам по коровам стрелять, а не по танкам». Подбежал ко мне, замахнулся биноклем: «Какие вы к черту, артиллеристы! В штрафную роту! Всех в штрафную!»

В тот же день вечером комбата вызвали в штаб полка. Ночь на батарее прошла спокойно, а на рассвете разведчик завопил: «Танки на горизонте!»

Шли они по тем же дорогам, что и вчера.

Я вновь прикинул расчеты: получались те же цифры. Попросил дальномерщика уточнить данные — да, все верно. А танки приближались, и думать было некогда. Промешкаешь — они засекут батарею и первыми откроют огонь. А пушки у них того же калибра, что и наши. И не четыре, а много.

Решил расчеты не менять.

— Угол места! Азимут!..

Голос на последней цифре дрогнул. Командир первого расчета сержант Касьянов, плечистый, чернобровый красавец, скосил на меня глаза — не забыл ли командир вчерашнего промаха? Нет, Касьянов, не забыл. Выполняйте команду. И пушкари плотно

жмутся к окулярам прицелов, со спокойной твердостью крутят поворотные маховики, ведут стволы, ведут... Залп! Вздрогнули лафеты орудий... Солдаты, ящики, снаряды — все на миг заволокло светлым облачком дыма. Раздался крик: «Горит!» И вслед — второй голос: «Ага, черти тупорылые!» От орудия к орудию покатилося: «Три танка! Bravo, наводчики! А ну ещё! Дайте-ка поточнее!»

Сердце мое готово было выпрыгнуть от волнения. В свой морской артиллерийский бинокль видел горящие танки. Они почти разом взорвались, и там, где была черта горизонта, расплывается черное облако. Но где же другие танки, где колонна? Ага, вот! У края дымовой завесы выполз один танк, вправо ткнулся, влево, попятился назад. Или опасность почуял, или грязь впереди — пятится, словно навозный жук. И чудится: усы у него и он ими сторожко опасно шевелит.

— Угол места!.. Азимут!.. Огонь!..

И в ту же секунду шарахнулся в сторону жук навозный, задрал гусеницу, дымит. С ним рядом другой танк неизвестно откуда вынырнул.

— Огонь! — кричу не своим голосом.— Огонь! — повторяю в запале, но это уже не нужно: в один момент со второй команды раздается залп четырех орудий, и на месте второго танка поднимается столб огня и дыма. Видно, начинен был снарядами, взлетел на воздух, словно пороховая бочка.

— Ну-у, черти! Кто следующий?

Следующего нет. Облако дыма на месте головных танков расплывается вширь и вверх. Ни целых танков, ни горящих не видно. Говорю хриплым голосом: «Кто? Кто следующий?..» И орудийщики кричат: «Обжегся, окаянная сволочь! Припекло, прижарило! Давай, давай, Фриц зеленый! Сунься ещё разок!» Рука с биноклем дрожит от напряжения: «Словно кур воровал!» — упрекаю себя за слабость и перекалдываю бинокль из одной руки в другую. «Пять танков подбили! В одном бою пять танков! Напишу представление в полк. Всем командирам орудий — ордена, наводчикам — тоже ордена, другим номерам — медали. Всем — ”За отвагу“...»

Когда опасность новой атаки миновала, подал команду: «Отбой!» Тотчас подошли все четыре командира орудий. И почти в один голос сказали: «А все водка была виной! Да, командир! Расчеты вы дали те же, а ишь, как вмазали! Не надо ее лакать перед боем...»

Командир четвертого орудия — приземистый большеголовый старший сержант, слывший среди батарейцев любителем выпить, со смешком и с ехидцей возразил: «Может, перед боем и не надо, а во всякое другое время — отчего же и не приложиться к ендовой. Здоровому человеку она не во вред, а душу веселит».

На том разошлись артиллеристы; в расчетах ещё долго, до самого обеда оживленно обсуждали подробности и перипетии скоротечного, но яркого боя с танками. Во вчерашней неудаче и тут кое-кто винил сивуху, но больше склонялись к игре случая, а что до водки, то большинство думало так: она, конечно, создает трясение в руках, но на общее настроение солдата влияет положительно и дух боевой поднимает.

В то время и сам я придерживался того же мнения: перед боем водка вредит, а во всякое другое время, да если понемногу, к случаю — оно и ничего, даже будто бы полезно.

И потом, многие годы после войны той же философии держался. Статей тогда о вреде алкоголя писалось мало; ученые-то знали, а мы, грешные, пребывали по отношению к вину в благодушном наивном заблуждении.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай Степанович, уезжая на работу, зашёл в комнату Грачёва, разбудил гостя.

— Не знаю ваших планов... Если не торопитесь, поживите у меня на даче. А?

— Я, пожалуй, с удовольствием.

— И отлично! — обрадовался профессор.— Вот ключи. В холодильнике еду найдёте. Распоряжайтесь!

Выходя из столовой, скользнул взглядом по этажам серванта, там, за стёклами, разноцветьем головок красовалась батарея бутылок: коньяки, вина, ром... Держал на случай гостей, особенно если коллеги из-за рубежа пожалуют.

Сейчас думал: искушение для Грачёва.

Костя, оставшись один, перво-наперво к серванту подошёл. Ключом, торчавшим в дверце, открыл правое крыло. Серебром и золотом били в глаза этикетки: «Коньяк» — пять звездочек, «Юбилейный», ром египетский. Нагло и бесстыже пучила бока зеленая бутылка в серебряной косынке — Шампанское.

Взял коньяк, повертел в руках — хмыкнул.

— Дружков бы моих сюда.

Внутри засосало, сладко, тягуче. И лёгкий, липкий — и тоже будто сладковатый туман поплыл перед глазами.

Водворил на место бутылку, с силой хлопнул дверцей. Сев в кресло напротив, смотрел на сервант ошалело. Сердце колотилось, будто на ринге, после второго раунда. Всей грудью втянул воздух, затем выдохнул. Повторил раз, другой. Так делал в перерывах между раундами, сидя на стульчике в углу ринга. Прислушался к зову организма: странное дело, раньше при виде бутылки с вином внутри всё призывно и сладко закипало, разливалась тоска и не было терпения. Скорее, скорее... Хоть один глоток спасительный, сладостный, всё заглушающий глоток. Теперь же нет тоски. Желания молчат. Есть страх и сердцебиение.

Никому бы не признался он в тайных терзаниях. Об одном думал, одного боялся: как бы не сорваться, не запить снова. Было ведь и раньше: он устраивался на работу, зарекался пить и держался, но подворачивались дружки, а то случалась неприятность, обида — его словно сатана затягивал в пивную, и всё летело под откос.

«Но это всё в прошлом. Теперь не то, теперь всё серьёзно. Не сделаю им подарка, не дам повода смеяться».

Под словом «им» разумел теснившихся возле магазина пьянчужек, их презрительные взгляды, липкие, пошловатые остроты: «Всю водку не выпьешь, но к этому стремиться надо». «Водой не напьёшься, вода мельницы ломает». И всё в этом духе. Но главное — Очкин. Самодовольный, чистенький Михаил Игнатьевич — муж его жены, умный, важный, всезнающий и умеющий. Его реплики: «Не можешь пить, валяйся в кювете», «Свинья грязь найдёт», «Если пьяница — это надолго». И особенно он любит вот эту: «Ну, ты, стакановец».

Он как бы внушал Грачёву обречённость, гасил последние надежды.

Очкин всегда давал ему деньги — трёшку, пятёрку. Брал за кончик, презрительно совал. И Грачёв брал; всё тело сотрясалось от обиды, а брал, и шёл в магазин, пропивал, а потом снова просил, и тот не отказывал. Как часто ему в момент этого крайнего унижения хотелось изготавиться к атаке, как там, на ринге, кинуть корпус вперёд и с силой огневой ярости ударить в солнечное сплетение. Но нет, покорно опускал голову, брал деньги. И теперь он бы хотел нанести удар всем сразу — им, им, жалким и презренным, но не кулаком, а силой своего характера, мужеством, величием духа. «Победивший других — силен, победивший себя — могуч», — вспоминалась мудрость, часто повторяемая тренером.

И снова думы, думы...

И вдруг:

— Всё кончено! Баста! — закричал Грачёв, вскочив с кресла. С размаха хватил по столу. И, не умываясь, наскоро одевшись, выбежал из дома. И уже по дороге старался унять биение сердца, обрести равновесие и покой.

Утро занималось тихое, тёплое. Грачёв вышел на косогор, и ему открылся Финский залив. Малиновый шар солнца всплыл над голубевшим вдали куполом Кронштадтского собора, розовый свет позолотил в тёплые тона северную природу.

По счастливому совпадению, а они в жизни случаются нередко, тут же в Комарово, недалеко от дачи академика Бурлова, на месте старого, невесть кому принадлежавшего домика, начал строительство дачи недавно переведённый в Ленинград Очкин.

Поначалу Костя по просьбе Очкина помог им с переездом, а там и остался строить временный, маленький домик на участке, выделенном для дачи Очкина. Домик построил в месяц, установил в нём печку и начал строить дачу по чертежам и рисункам хозяина. Очкин говорил: «Ты пока строй, а там, к зиме, я тебя определю на работу, помогу прописаться».

По выходным Очкин, Ирина и Варя приезжали в Комарово, загорали на пляже Финского залива, обедали в усадьбе. Приезжали и Мартыновы — в старый домик, доставшийся им от деда, отца Веры Михайловны. В клинике Саша и Грачёв подружились. Грачёв много рассказывал молодому другу о своей жизни — с грустной усмешкой, как бы подтрунивая над собой и издеваясь. А Саша, видя его чистосердечие, всё больше проникался к нему симпатией, открывал в характере старшего товарища черты привлекательной личности. Александр Мартынов от природы был щедро наделён артистическим даром; он ещё в школе играл роли в самодеятельных спектаклях, а став взрослым, посещал едва ли не все театры города — любил оперу, балет и драму, знал многих артистов, мог подолгу говорить о новостях театральной жизни. Саша любил литературу, читал и знал современных поэтов и писателей. В Грачёве он тоже находил врождённую артистичность, какую-то тонкую, аристократическую манеру держаться и говорить. Саша приходил во всё большее изумление от редкого совпадения в одном человеке мужских достоинств: роста, сложения, красоты и какой-то женственной пластики.

На следующий день после выписки из клиники Мартынов поехал на дачу. Матери сказал: «Поживу там с недельку, а ты приезжай на выходные».

В тот же день пошёл к Грачёву. Спустился вниз по лесной тропинке к берегу Финского залива. Проходя место, где Александр вступился за женщину и получил чуть не стоивший ему жизни удар Грачёва, Саша поморщился, отвернулся в сторону — вспоминать нелепый эпизод не хотелось. Подойдя к усадьбе Очкина, воскликнул:

— Ба! Да тут настоящая стройка!

Между вековых сосен стоял свежесрубленный квадрат большого дома. Золотом отливали бревенчатые стены, серый шифер островерхим шлемом покрывал терем, и только пустые глазницы широченных окон придавали дому неживую унылость.

На верстаке из-под визжавшего на всю округу электрического рубанка вылетал вихрь мелких стружек. Грачёв широкой приветливой улыбкой встретил гостя.

— Милости просим.

Смотрел, куда бы посадить Александра — не нашёл. Смутился, развёл руками.

Саша ещё там, в клинике, заметил: несмотря на разницу в их возрасте, Грачёв принимает его с предупредительной почтительностью зависимого человека — то ли из уважения к рабочему званию Александра, то ли по едва осознанной им самим причине своей ущербности неустроенного в жизни человека.

— Тут, верно, будет жить большая семья? — спросил Александр, оглядывая дом, в котором явно угадывались две внушительные половины с летними верандами на первом этаже и мансардой на втором.

— Да уж! На просторную жизнь замахнулись. Ныне время такое.

И, словно бы оправдывая Очкина, и с некоторой гордостью за свою бывшую жену сказал:

— Народ они состоятельный, он — директор, она — доктор наук, денег получают много.

— Ты извини, — заговорил Александр, садясь на штабель обстроганных досок, — понять не могу: тебе-то что за резон? Строишь дом, в котором будут жить другие. Подряд, что ли, взял?

Грачёв подсел к Александру, ответил не сразу. Не каждому бы душу стал распахивать, а Сашу полюбил, как сына, и не было сейчас на целом свете дорожке для Грачёва человека.

— Я, видишь ли, Саша,— начал он неуверенно, издали,— экзамен сейчас сдаю. Пить перестал вовсе, я слово дочери дал и для себя решил: к вину больше не притронусь. А эта вот...— окинул взглядом усадьбу,— стройка, как ты говоришь, все силы мои поглощает. Я ведь не работаю, пока не работаю, а кормиться надо. Святым духом сыт не будешь.

— За кормежку такой дворец возводишь?

— Тут дочь моя жить будет. К тому ж и все мысли сюда направлены. А строить я люблю! У меня руки над доской поют. Я где-то слышал: человек тогда проживёт не зря на свете, когда он дом построит, дерево посадит или книгу напишет. Вот это и есть моя книга.

В защитного цвета рубашке с карманами на груди и узенькими погончиками на плечах, в потёртых, ладно скроенных джинсах Грачёв скорее походил на скульптора, чем на плотника; в руках его, высвечивая золото естественного узора, играла отстроганная доска, на верстаке покойно лежал голубой тупорылый электрорубанок. Это он только что визжал словно поросёнок.

— Где живу? Вон домик-теремок, там окна с видом на море, голландская печка, есть диван и даже газовая плитка. Я жил там недавно, а сейчас комнату в доме отделал — вон ту, угловую. Пойдем, покажу.

Глазами хозяина, с пристрастием, Александр осматривал дом, разглядывал каждое вписанное в своё место бревно, каждую планку. Дивился красоте и точности всего сработанного. Дом походил на шкатулку, в которой все углы и линии подобраны с большим тщанием, всё отстрогано, отглажено.

«Его бы к нам на сборку»,— невольно подумал о Грачёве Саша.

Потом они пили чай. Из окна открывалась даль Финского залива, слышен был плеск волн и весёлый гомон купающихся и загорающих на солнце ленинградцев. Была середина июня, лето только начиналось. Александр никуда не торопился, у него был бюллетень на две недели, и он хотел провести их на даче, ничего не делая.

Всё больше занимал его новый друг Грачёв. «Вот ведь — пьяница, а как чисто, аккуратно всё делает. Видно, талант от природы». И ещё думал: «И в боксе проявил талант, и в столярных работах».

— А ты раньше-то строил чего-нибудь?

— Ещё с дедом мальчишкой плотничал. У нас ведь так: всё делали сами. Не то, что теперь: чуть что — слесаря зовут, электрика. И не один я строю. Тут два месяца бригада плотников работала.

— Нам на заводе слесаря нужны. Вот у меня подручного нет.

— Сразу-то, пожалуй, не сумею. У вас работы точные, лекальные.

— Не боги горшки обжигают. Доложу матери — пусть оформляет.

— Возьмет ли? Ведь знает...

— Строга к вашему брату, да будем просить. На колени встану.

Грачёв отвернулся к окну, глаза сузились, отрешенно смотрел в белесую даль моря. Александр невзначай тронул большую мозоль — сердце отозвалось тревогой.

— Нет уж,— сказал глухо,— просить не надо.

— Не твоя забота, Константин Павлович. Просить не просить. Я хоть и сын, а ничего без просьбы не выколотишь. Такая она у меня.

— В магазин мне надо.

— Сходи, а я здесь, на диване, книжку почитаю.

Александр решил подольше побыть у Грачёва; хотелось сгладить неловкость от нечаянно вылетевшего обидного слова.

Взял книгу, прилёг на диван. И почти тут же уснул. Не услышал, как на площадку к дому подкатила чёрная с жёлтыми подфарниками «Волга». В дверях появился сутуловатый невысокого роста крепыш с седой шевелюрой и карими глазами.

— Где Грачёв? — буркнул незнакомец.

— Уехал в магазин. Сейчас приедет.

— А вы?

— Я?..

Александр пожал плечами. Он окончательно потерялся и не знал, что говорить.

В теремок вошли женщина и девушка, поклонились Александру, а он, поднявшись с дивана и сказав: «Здравствуйте!», смотрел на женщину с едва скрываемым изумлением; узнал в ней ту, из-за которой вышел инцидент с Грачёвым. Стоял в полной растерянности и не знал, как себя вести. Женщина, а вслед за ней и девушка некоторое время внимательно и дружелюбно смотрели ему в глаза, а затем чуть заметно поклонились, пошли к морю. «Узнала она меня или нет?» — подумал Александр, вытирая платком обильно вспотевший лоб. Опустился на табурет у окна и долго смотрел вслед удалявшимся к морю. Мужчина остался на даче.

Александр чувствовал себя неловко. Чересчур важными показались ему пришельцы, особенно этот... «сытый барин». Сравнение, пришедшее на ум, было удачным, и он подумал: «Наверное, начальник».

Хотел уйти домой, но вспомнил о Грачёве. Смотрел в раскрытую дверь, наблюдал за сердитым незнакомцем: тот, сутулясь, швырял ногами щепки, ходил по ещё не застеклённым верандам и будто бы ругался. «Хозяин... Да, конечно, он тут хозяин».

Вернулись женщины. Девушка сказала:

— Вы лежали с папой в палате. Меня зовут Варей, а вас?

— Александром. Ваш папа пошёл в магазин, скоро придёт.

Варя кивнула и направилась в дом. «Как она похожа на Константина Павловича», — думал он, провожая девушку взглядом. Она была в лёгком голубом сарафанчике; открытая спина, круглые плечи, полные руки чуть тронуты загаром. «Сколько ей лет?» — невольно возникал вопрос, наверное лет семнадцать? И ещё Александр подумал: «Как молодо выглядит мать Вари, как она красива, и как, должно быть, тяжело Грачёву было расстаться с такой женой».

Грачёв вернулся из магазина, позвал Александра в дом.

— Александр Мартынов, мой друг, — представил Грачёв.

«Барин» удостоил Александра взглядом, а женщины по очереди протянули руки, назвали себя.

— Оставайтесь с нами обедать, — сказала старшая.

— Нет, нет, пойду домой, живу тут рядом.

— Мы вас не пустим, — сказала Варя. И хотя она заметно покраснела при этом, но старалась быть смелой. Пожалуйста, оставайтесь обедать.

Стол накрыли на одной из веранд. Михаил Очкин и Грачёв принесли из машины ящик. В нем обед, и даже пирог, хранивший ещё тепло духовки.

Михаил Игнатьевич ловким движением раскупорил бутылку пшеничной водки, стали наливать в рюмки. Грачёв свою прикрыл ладонью.

— Трезвенник объявился... — буркнул «хозяин» и наполнил рюмки всем — кроме Варвары.

Выпили молча.

— Вот оно... так называемое «культурное пьянство»! — резюмировал Грачёв.

— Тоже мне... Проповедник!

Михаил Игнатьевич налил себе ещё рюмку, выпил. И, склонясь над тарелкой, ещё раз хмыкнул, улыбнулся ехидно, покачал головой.

И было во всей его фигуре столько снисходительного величия: мол, не тот я человек, которого следует учить, а, наоборот, все должны смотреть на меня и подражать мне.

Александр с мгновенной готовностью, со своей великодушной доверчивостью проникся почтительным уважением к хозяину, и даже первое впечатление, что перед ним «сытый барин», скоро у него рассеялось. Он по натуре был добр, доверчив, очень быстро поддавался под влияние, особенно, если влияние исходило от старших, от именитых, от тех, кого и общество признавало достойным уважения.

— Ты это что... серьёзно завязал? — пробубнил Михаил Игнатьевич.

— Слово профессору дал — не пить больше. И вот ей, Варе.

— Ну, ну, хорошо бы.

Михаил Игнатьевич налил рюмки всем остальным.

Александр много слышал о вреде спиртного, но не придавал значения этим разговорам, так как хотя и выпивал при случае, но считал себя непьющим. Здесь же, в присутствии незнакомых женщин, особенно Вареньки, боялся уронить мужское достоинство — пил вровень с Очкиным.

— Слово, говоришь, дал — эт хорошо! — продолжал Очкин, бубня себе под нос. — А чего оно стоит, слово твоё?.. Сколько раз давал его вот ей, Ирине.

Это было уж слишком! — при чужом человеке... Вот он всегда так: ни меры, ни такта.

Мать и дочь вмиг покраснели, потупили взор. Вилками ворошат кусочки мяса, но не едят. Александр сидел рядом с Варей; он краем глаза видел заалевший кончик её уха, над ним полумесяц локона темных волос.

— Вы говорите, папа давал слово, — нарушила она молчание. Голос её дрожал. — А я не слышала. Папа не давал мне слова, а если бы он дал, если б дал...

Грачёв положил ей на плечо свою большую сильную руку.

— Давал, доченька, давал. К сожалению, Михаил Игнатьевич прав.

Очкин, ободрённый поддержкой и, очевидно, желая сгладить неловкое впечатление, продолжал:

— Видел я твоего профессора, был у него. Несерьёзный он человек. Прожектёр! Безответственную болтовню разводит. Трезвость, говорит, нужна. Абсолютная трезвость! Я его спрашиваю: «А как установить эту самую трезвость?..» — «Запретить пить — и всё!» — говорит он мне.

Очкин качнул кудлатой серебряной головой, хмыкнул:

— Чудак! Семьдесят пять лет прожил, а говорит глупости. Вот уж кто-то истинно сказал: не всегда знания ума прибавляют. А ещё какой-то мудрец о профессиональном кретинизме говорил. В одном деле — профессор, а во всех остальных... Был у нас один такой: два института кончил, а предлагал одни глупости. О нём так и говорили: умный дурак.

— Николай Степанович Бурлов — академик, лауреат, признан во всём мире, — сказал молчавший до того времени Александр.

— Не о нём я, разумеется, — осадил свой пыл Очкин, поняв, что зашёл далеко.

И продолжал:

— В наше время желать абсолютной трезвости — всё равно что желать абсолютного счастья. Разводы, преступления, алчность, ложь, подлость, предательство... Наконец, сама смерть!.. Хорошо бы, конечно, без всего этого, да как избавишься вдруг от всего разом? Да и жизнь бы поскучилась. Всё бы стихло, смолкло — борьба, страсти, само движение. Люди бы лежали, да пили бы своё счастье. Чушь какая-то!

Очкину никто не возражал; все сидели и друг на друга не смотрели. Тема разговора хотя и была знакома каждому, но суть проблемы, её историческая подоплёка, социальная сторона, особенно же медицинская окраска, были для всех закрыты. Мало в них смыслил и Очкин, но в силу укоренившейся привычки под всем подводить черту, говорить последние, завершающие слова, вещающий истины тон, — всё это подавляло, отбивало охоту к возражениям.

К тому же Очкин был умён, хорошо знал психологию людей, нравы времени, потребности общества. Он во всяком случае пускал в ход практические доводы, применял холодный, деловой расчёт; складно и гладко обрамлял свою мысль. В его речи слышался своеобычный стиль, и блеск, и логика. Редко кто мог устоять с ним в споре.

В молчании заканчивали обед.

Стали прощаться.

Грачёв, провожая друга, сказал:

— Не обижайся на Очкина, он со всеми так: нагнёт башку словно бычок и бубнит себе под нос. Сколько знаю его — всегда такой.

— Странно,— пожал плечами Александр.— У нас бы такого в цеху не потерпели.

На прощание Грачёв напомнил другу:

— Если твоя матушка возьмёт меня — я, что ж, пожалуй пойду. Учеником пока, а потом, может, и заладится.

И, помолчав, добавил:

— По моей специальности — тренером или в школу учителем физкультуры — меня уж не возьмут. Да, признаться, хотелось бы в большой коллектив, к серьёзному настоящему делу.

Ну, а Михаил Очкин? Откуда у него такая самоуверенность, такое сознание собственной силы и непогрешимости.

Закладываться его характер начал в годы войны. Ему было двенадцать лет, когда гитлеровские солдаты, стоявшие в его родном селе в окрестностях Минска, расстреляли его отца — Игнатия Родионовича, бывшего связным в партизанском отряде. Весь тот страшный день Михаил проплакал, забившись в сено на скотном дворе, а ночью вышел и при свете луны у крыльца соседнего дома увидел спящего гитлеровца. Очевидно, немец был пьян: рядом на снегу лежал автомат. Михаил взял автомат и подался в сторону леса. Там его встретил партизанский дозор: в отряде знали о гибели его отца.

Первое жизненное потрясение наложило отпечаток на характер Михаила: он стал замкнут и молчалив, редко смеялся. Одна дума владела им: отомстить за отца. Она вела его по партизанским тропам. Он был смел до безрассудства; казалось, Михаил искал смерти, но смерть его обходила.

Однажды к партизанам опустился самолёт. Взлететь обратно не мог — не было бензина. И тогда Михаил сказал командиру отряда:

— Я знаю дорогу, по которой немцы возят бензин на свой аэродром. Разрешите устроить засаду?

Командир разрешил, выделил двух бойцов в помощь Михаилу. Они лежали, зарывшись в снег, у обочины дороги. Прошёл час, другой — мимо бежали машины, но бензовоза не было видно. В кузове показавшегося грузовика заметили бочку: бензин! Михаил выбежал на дорогу, выхватил из-за пазухи бутылку с мутной жидкостью. Смотрите, мол — самогон! Машина сбавила ход, но не остановилась. Из кабины высунулся офицер, вскинул пистолет, выстрелил в упор. Михаил качнулся, упал. Лицо горело,— опалило огнем, но — жив. Друзья подхватили на руки, понесли в лес. Пуля задела ухо, шла кровь. Рану перевязали, и Михаил скоро отдышался. Улыбнулся друзьям: жив!

— Вот оно как — угощать немцев самогоном.

Старший предложил Михаилу вернуться в лагерь — отказался. Приготовили на костре чай, подкрепились, и — снова в засаду. И снова грузовик — на борту две бочки. Михаил, перевязанный и укутанный до глаз, показал бутылку. Машина остановилась, и из неё высыпали немцы — шесть человек! Схватили парня и потащили в кабину. Партизаны ударили из автоматов. Завязался бой. Михаил юркнул под машину, прижался к колесу. Стрелял из пистолета немцам в спину. Убил шофера, прыгнул в кабину. Мотор работал, и Михаил рванул машину вперед. Знал: партизаны отойдут в глубь леса, знал и дорогу в отряд. И через полчаса он был уже на партизанской базе.

В бочках оказался бензин, пригодный для самолета.

К вечеру на базу вернулись его товарищи; немцы боя не приняли, рассеялись в лесу по другую сторону от дороги.

Самолёт взлетел, увозя раненых партизан и почту на большую землю. За тот подвиг Михаил получил медаль «За отвагу».

Подрастал и мужал Михаил в партизанском отряде. До конца войны много он исходил дорог по Белоруссии, вырос и окреп в боевых походах, стал заправским, смелым бойцом.

После войны учился. Окончил институт.

Счастливо складывалась карьера Очкина, он был удачлив, весел, любил юмор и умел остроумно, складно говорить. В делах был настойчив, но смелость со временем убывала. Случались ситуации, когда и надо было проявить характер, но ум диктовал расчёт и выдержку. Так постепенно вырабатывались иные свойства: осторожность и осмотрительность. И чем выше поднимался он по служебной лестнице, тем чаще приходилось оглядываться: наверху и ветер сильнее, и опор под ногами меньше. А случалось и так: не знаешь, куда шагнуть: влево пойдешь — себя зашибёшь, вправо — близкого человека в яму столкнёшь. Однажды и любимого человека пришлось локтем задеть. А случилась та история с Машей Полухиной.

Маша была замужем, Очкин — женат, но, встретившись на даче у её отца, известного учёного, они полюбили друг друга.

Учёный благоволил к Очкину. Однажды, когда нужен был директор завода, учёный предложил кандидатуру Очкина.

Время шло, Очкин работал исправно. Учёный был стар, его мучили болезни. Отошёл от дел, и многие стали забывать о нём. Его дочь Маша работала в конструкторском бюро завода. Главный конструктор к ней придирался: то не так, это не так. Позволял грубости.

Маша плакала. А однажды с ней случилась истерика — увезли в больницу.

Очкин всё знал, всё видел, но... не вмешивался. Не прост был главный конструктор, доводился родственником заместителю министра, в ведении которого находился завод. Отношения с министерством у Очкина и без того были натянутые, а тут ещё эта история.

Пригласил главного конструктора, пробовал урезонить мягко, без нажима. Тот понял слабинку директора и, когда вернулась Маша, стал ещё изощрённее травить её.

Маша не выдержала, ушла с работы. Очкин сохранил хорошие отношения с начальством, но... история с Машей тяжёлым камнем легла на сердце. Замкнулся Очкин, голову стал клонить ниже, говорил уж не столь увесисто. Глубокие складки пролегли на лице, а в волосах засветились серебряные нити.

Мало кто знал о его пристрастии к вину — умел скрывать свою слабость. Но после истории с Машей он стал пить чаще.

И одно только по-прежнему спасало его от людской молвы: умение держать себя в рамках — он пил хотя и регулярно, но не упивался. И никто не видел, и не знал, — даже и он сам, — как быстро разрушаются в нём силы жизни, особенно же разум и совесть, то есть всё то, что в своё время высоко подняло его над людьми.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вечером, придя с работы, Саша решил поговорить с Верой Михайловной о Грачёве.

Мать возилась на кухне, готовила ужин. Александр подошёл к ней, обнял за плечи:

— Мам, ты меня любишь?

— Ох, Сашок, слышит моё сердце: чего-то тебе понадобилось.

— Точно. Нужна твоя помощь. Ты ведь знаешь: давно я подручного ищу.

— Помню, но нет подходящего человека. Рабочих не хватает. Теперь молодые люди не то, что прежде: кем зря работать не хотят. Им должность подавай, место потеплее.

— Есть на примете человек, да не простой он. Боюсь, отдел кадров не пропустит.

— Ты ещё не знаешь, пропущу ли я, а уже за отдел кадров беспокоишься. Говори, что за человек.

— Вроде бы всем хорош, да зашибал малость.

— О-о... Пьяниц не надо. И не проси. Выбрось из головы, Сашок. Выпивоха — не человек!

— Я говорю: раньше пил, теперь он...

— Нет, сынок, я больше тебя знаю людей: пьяницу, как горбатого, могила исправит. Уж лучше разбойника, преступника — кого угодно, но только не пьянчужку. Ты знаешь, сколько мы от них пострадались.

Александр с ужасом подумал: «Не возьмёт!»

— Мам, успокойся, пожалуйста. Не такой уж он страшный, как тебе представляется. Наоборот: здоровый, красивый мужчина, ещё молодой. А в прошлом он был чемпионом по боксу. Ты его знаешь — мой сосед по палате.

— Константин Павлович?..

— Ну вот, а ты раскудаhtалась. Хороши бы мы были, если на доброту его...

— Ты так сразу бы и сказал. Константин Павлович — иное дело. Он, может, и выпивал, с кем не случается, однако же и лицом, и всем своим видом...

— Был за ним грех. И в трудовой книжке есть отметины. Так уж лучше ты сейчас обо всём узнаешь, чем потом, когда оформляться станет.

Вера Михайловна снова поникла головой и уже иным голосом спросила:

— Что же это он подручным к тебе... Специальности, что ли, никакой не нашёл?

— Так уж вышло. Жизнь не заладилась. Бывает. Не пропадать же человеку.

И после минутного молчания:

— Мам, никогда я тебя ни о чём не просил. Ты у меня добрая, хорошая. Поверь, пожалуйста, в человека, возьми в цех и приставь ко мне в ученики.

— Ладно, ладно, адвокат несчастный. Присылай ко мне своего Грачёва.

Костю приставили к Александру на сборку. В перерыве на обед Саша спросил у Грачёва:

— Где жить будешь? Может, в общежитие пойдёшь? Направление достану.

— Домой буду ездить, в Комарово.

Непросто проходил Грачёв через отдел кадров; как увидели отметку в трудовой книжке, на дыбы встали: пьяницу и на искусственную почку! Там же ювелирная работа! А у него, поди, руки дрожат!

Не удалось, как хотела Вера Михайловна, скрыть от рабочих цеха эту чёрную метину в биографии Грачёва. В цехе тоже пожимали плечами: Вера Михайловна пуще огня боится пьяниц, а тут... приняла, да ещё к сыну своему, слывшему за лучшего слесаря на заводе, в помощники приставила.

Мастера, встретив Веру Михайловну, шутили:

— Переоценка ценностей происходит? И нам, что ли, послаблений ожидать?

— Ну, нет, пьяниц в цехе не потерплю. А этот... Он вроде бы перестал. Сына послушалась. А-а...— И Вера Михайловна махнула рукой.

До конца и теперь не верила Грачёву. В рабочей среде крепко держалось мнение: если уж пьёт, то пьёт. И хотя редкий рабочий в праздник или в застолье отстранит руку с протянутой к нему рюмкой, но пьяниц — презирают. Он и работник плохой — голова болит,— а в другой раз и совсем прогуляет. Хочешь за такого подставлять спину — мирись, а не хочешь — держись от него подальше.

В конце каждого месяца на участке искусственной почки обыкновенно выдаются дни бестолковой суеты и горячки. Мастер то и дело торопит слесарей:

— Братцы, не подкачайте. Шесть аппаратов нынче требуют.

Больше всего стоял над душой Саши, занятого доводкой особо точных механизмов.

— Дадим шесть аппаратов, обещал Саша.— Вчера давали и нынче дадим, куда они денутся.

— Вдруг осечка выйдет,— беспокоится мастер,— вместо шести, да пять предъявим на сдачу. Беда будет.

В цехе — три сборочных площадки; они только так называются — сборочные, на самом-то деле тут происходит доводка — отладка и первая контрольная проверка.

На двух площадках по три слесаря, на одной — первой по счёту — долгое время один Саша трудился. Это потому, что Саша каким-то особенным образом умел один сделать ту же работу, что на других площадках двое выполняли. Факт этот известен всему заводу, и даже в Министерстве на коллегии о нём заводили речь. А всё дело в том, что Александр такой своей прытью затрагивал святая святых: нормы, расценки и заработную плату. Поначалу на мать пеняли: дескать, матушка — начальник цеха, вот сынок-то и резвится. На защиту репутации Веры Михайловны и чести молодого рабочего вступились комсомольцы цеха. Потребовали комиссию. И вот с других заводов пришли нормировщики, хронометристы. И так проверяют, и этак — делает двойную норму Александр — и всё тут! Комиссия применила хитрую уловку: аппарат, пущенный на третью площадку, на ходу переключила на первую. А тот, что к Александру шёл — на третью пустили. И тут Мартынов не оплошал. Там трое за два часа аппарат отладили, он один — за два часа тридцать минут. И этот его аппарат на стенде технического контроля получил высший балл.

Заработанное — отдайте. И Александр из года в год — особенно, в последнее время — за двоих получал. И никто не укорял его родством с начальником цеха. А однажды приехал корреспондент из Москвы. На площадке Александра собрались рабочие. Корреспондент у одного парня спрашивает: «Ну а вы вот смогли бы так же, как Александр Мартынов сработать?» — «Смогу, если постараюсь», — ответил парень. Но пожилой рабочий, стоявший тут же, его осадил: «Нет, Петруха, ты бы не смог — и зря не трепись. Пьёшь ты изрядно, с утра, бывает, руки дрожат, и сам ты весь не свой, а Мартынов всегда трезв, и глаз у него зорек, и руки тверды. К тому же — талант у Александра, а это, брат, не каждому даётся».

Когда к Александру Грачёва приставили, кое-кто заговорил: «Сядет его зарплата — на двоих делить придётся...» Другие, что поумнее, замечали: «Посмотрим, время покажет». И, казалось, скептики были правы: в первые месяцы первая площадка представляла к сдаче по два аппарата. Та же зарплата теперь делилась на двоих. Грачёв хоть и старался, большую аккуратность и сметку в работе проявлял, но выработка держалась стойко: два аппарата в день. Хорошие были аппараты, высокий получали балл, но... два изделия. Не больше.

Удивлялись рабочие терпению Александра: зачем такой помощник, если толку от него нет. В местком предлагали разделить наряд: Мартынову платить по высокому разряду, Грачёву — по низкому. «Нет! — возражал Александр. — Будем работать, как все — на один наряд».

Вера Михайловна редко заходила на площадку к сыну, меркантильных разговоров с ним и дома не заводила.

Молчал и Грачёв. И старался работать лучше. И самое заветное желание у него было: дать три аппарата в смену. Три аппарата. Хотя бы три... для начала.

В конце смены обыкновенно по участку идёт начальник цеха. Молчит начальник, а на душе всё та же тревога, что и у мастера. Надо бы к сыну подойти — не подходит. Знает: Александр стороннего глаза во время работы не любит.

В другой раз спросит у мастера:

— Как там у Мартынова? Не даст три аппарата?

— Молчит ваш Мартынов. До смены час остался, а у него второй только на доводке. И этот... подручный его, Грачёв. Я уж и к нему подступался — тоже молчит, как воды в рот набрал.

— Ну, а как он, Грачёв-то, ничего работает?

— Саша им доволен.

— Ну, ну, и слава Богу, — скажет Вера Михайловна. — А над душой у них не стой. Не любит Александр.

Вера Михайловна эти слова произносила с гордостью.

Точнейшие детали, требующие ручной доводки, одна за другой становятся на место, аппарат тихо зашелестел внутренней механикой, прогоняется под нагрузкой. Минута, другая... И выключается. Александр подаёт его на площадку готовой продукции. Не ставит клейма, не пишет бумага,— и мастер, и начальник цеха знают: никаких проверок тут не нужно. Их собрал и выверил мастер-золотые руки, человек, никогда и никого не подводивший.

Грачёв трудился молча, сосредоточенно — так он, наверное, боксировал в пору молодости. И детали, хотя они очень маленькие, ловко перебирает пальцами.

К ним часто подходят любопытные. Грачёв всем нравится: здоров, красив и будто бы умный. Но главное — со всеми вежлив, к каждому со вниманием, с почтением.

День сегодняшний выдался из труднейших; думал Александр, не сдюжат, оставят второй аппарат на завтра. Но нет, вот они, беленькие, чистенькие, готовые служить людям, спасти им жизнь в минуты тяжких испытаний.

Каждый раз, когда Саша закончит отладку механизмов, и, точно живое существо, подталкивает «Почку» на площадку готовых изделий, он испытывает радость и немножко гордится сознанием своей причастности к рождению машины. В этом ключ к объяснению его постоянно хорошего настроения, его приветливости и внимания к людям. В этом же разгадка его спокойствия, какой-то обстоятельной, неубывающей щедрой силы. И всякому, кто соприкасается с ним, невольно сообщается уверенность в благополучном исходе всего того, что делается вместе с ним, Мартыновым.

Иные говорят об Александре: «Молодой, а сколько в нём взрослой мудрости». Другие заметят: «В матушку свою, Веру Михайловну уродился».

Прошёл год. Никто в цехе не помнил каких-то «темных пятен» в биографии Грачёва, забыла о них и Вера Михайловна. И когда в цех позвонили из парткома и предложили назвать кандидатуру народного заседателя в районный суд, Вера Михайловна пригласила Грачёва.

Дрогнул паяльник в его руке. «Зачем я ей?»

— Садитесь, Константин Павлович. Вы с Александром совсем заработались. Может, вам помощь нужна от меня какая?

Глаза серые, с голубинкой. В углах губ ямочки подрагивают. Смеётся.

Хотел сказать: «Сын у вас взрослый. А вы — молодая. Не верится». Но не сказал.

Склонил над столом голову, думал: «Что ей от меня нужно?»

— В районный суд заседателем. Хотела вас предложить.

— Заседатель?.. Почему меня?

— Люди вас уважают. К тому же и вид, осанка. И речь культурная.

Вера Михайловна встала, подала руку:

— Договорились?

На первое заседание суда оделся, как в театр: серый костюм с красноватой ниткой, белая рубашка, скромный, но тщательно повязанный галстук и новые туфли.

В трамвае стоял гвалт; две женщины наперебой выговаривали сидевшему у окна пареньку и не желавшему уступить место старушке.

— Нет, вы только посмотрите на него — нахал! Рядом стоит бабушка, а он сидит себе и в ус не дует, развалился! И вы тоже хорош, вам говорю, молодой человек! — повернулась женщина к Грачёву. — Скажите парню — пусть встанет.

— Ладно, ладно — он сейчас.

Тронул за плечо мальчика. Тот поднялся, отошёл в сторону.

Подросток был в замшевой модной куртке, с фотокамерой, небрежно закинутой на спину.

— Он и билета не брал, — не унималась женщина. — Проверьте у него билет.

Грачёв наклонился над парнем:

— Билет у тебя есть?

Парень протянул Грачёву серебряный рубль, сказал:

— Передайте, пожалуйста.

И, не дожидаясь сдачи, сошёл на остановке. Грачёв вышел вслед за ним. Парень, не глядя по сторонам, перешёл шоссе, устремился по тротуару в направлении районного суда — туда же, куда шёл и Константин. И по тому, как паренёк откинул назад голову, как он шёл, не выбирая дороги, не уступая прохожим — наконец, по дорожному фотоаппарату можно было судить о высокомерии, о принадлежности к какой-то среде, где не любят церемониться. «Ершистый мальчонка», — без зла подумал Грачёв.

Мальчик вошёл в здание суда. Грачёв за ним.

Началось заседание.

В правом углу зала в одиночестве сидел тот паренёк с фотоаппаратом. Он был бледен, напряжён, весь подался вперёд.

Дело слушалось о разводе.

Мужчина лет сорока, с тонкими чёрными усами, в замысловатой куртке из жёлтой лайки поднялся со скамьи, стоявшей напротив судьи. Его жена, Ада Никифоровна, изящная женщина с высокой причёской и большой золотой брошью на груди, поднялась с другой скамьи, что была слева. Из краткого сообщения о сути дела значилось, что она была директором известного в Ленинграде Дворца культуры, жила в большой квартире и ничего не имела против развода, но говорила: прежде пусть Карвилайнен, её муж, музыкант, примет её условия раздела имущества, а лишь затем она даст согласие на развод. Карвилайнен возражал, настаивал на поочерёдном рассмотрении дел: вначале развод, затем раздел имущества.

«Видно, много у них этого самого... имущества», — глядя то на мужа, то на жену — думал Грачёв. Прикидывал, как бы поступил любой из его товарищей, рабочих, в подобном случае, — как бы, наконец, поступил он сам: она женщина, слабый пол — бери, что тебе надо. А тут... торг учинили.

Грачёв настраивал себя на мирный лад, внимательно слушал каждое слово, взвешивал, судил, но где-то стороной, помимо его воли, мысли теснились не добрые: «Свару затеяли. Врагами стали». И разглядывал то супруга, то Аду Никифоровну, удивлялся несоответствию их внешней благообразности, галантности жестов, мягкости манер и речи тому строю мыслей и чувств, которые они обнаруживали в каждом слове. Супруги не смотрели друг на друга, а если на мгновение их взгляды пересекались, то вот-вот, казалось, из глаз у них посыпятся искры.

— Вы не хотите жить со своей женой. Почему?

— Мы не любим друг друга.

— Отвечайте за себя: почему вы не хотите жить с Адой Никифоровной?

— Она пьёт. Не переношу пьяных женщин.

Судья обращается к женщине.

— Что вы скажете по этому поводу?

Ада Никифоровна чуть заметно улыбнулась, и было в этой улыбке столько достоинства и презрения к мужу.

— Карвилайнен говорит правду. У меня такая работа. Встречи, гости, обеды. Я вынуждена пить — немного, чисто ритуально. Когда поднимают тосты, надо пить. Иначе... прослывёшь ханжой, белой вороной. Впрочем, не оправдываюсь. Наш супружеский союз существует формально, в сущности мы давно чужие люди.

— Первый вопрос суду ясен. Перейдём ко второму. Каковы ваши условия на раздел?

— Все, что в моей квартире — мое! У него нет прав на имущество.

Карвилайнен не выдержал:

— Квартира — её, да, мебель — тоже, но библиотека!..

Он выпалил эти слова точно из пулемёта, но тут, словно вспомнив свою важность, заговорил спокойнее:

— У нас — библиотека, девять тысяч томов, издания редкие. Ещё мой отец вкладывал все средства! Я не могу жертвовать.

— У тебя есть сын! — возвысила голос Ада Никифоровна, и Грачёв, сидевший ближе всех к женщине, заметил, как пальцы рук её до белизны в суставах сжались. И, вздрагивая от душивших её рыданий, срываясь на крик, бросила в лицо мужу:

— Надо быть мужчиной, наконец! Книжки, мебель...— Стыдись, Карвилайнен!

— Не забывайся,— сказал Карвилайнен тихо, но с дрожью в голосе.— Ты в суде, а не на кухне.

Мальчик, знакомец Грачёва, подошёл к Аде Никифоровне, взял её руку. «Успокойся, мамочка, не плачь»,— шептал он. Но мать не слышала сына. Она вся подалась вперёд, извергала на мужа поток обвинений. И муж не оставался в долгу — парировал обидными словами. Мальчик оставил мать, подошёл к отцу. И до Грачёва явственно донёсся его чистый голос:

— Не ссорьтесь, пожалуйста!..

В зале стало тихо, словно в нём никого не было. И судья будто бы забыла свои обязанности. Смотрела на мальчика, оглушённая криком детской души,— столь обыкновенным, простым, и вместе с тем трагическим выражением желания видеть родителей хорошими красивыми людьми.

— Как тебя зовут, мальчик? — обратилась к нему судья.

— Роман,— сказал он, отступая к креслу.

— Кто тебя позвал к нам на заседание суда?

— Никто. Сам пришёл.

— Но, может быть, ты пойдёшь домой?

— Нет, я не пойду домой.

— Хорошо, Роман. Садись, пожалуйста. Не мешай нам. Ладно?

— Ладно,— буркнул он, опускаясь в кресло.

Опрос сторон ни к чему не привёл, суд перенёс на завтра разбирательство дела.

Родители выходили из зала по одному, и на улице они устремились в разные стороны, стараясь подальше оторваться друг от друга. Мальчик сначала трусил за отцом, затем побежал через улицу к матери, но близко к ней так и не подошёл, и она не повернулась к сыну.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Домой Грачёв приехал рано. На столе в большой комнате лежала записка: «Кабинет отделывать не надо. Пришлю мастеров. Очкин».

Поднялся на второй этаж. Здесь в просторной комнате с видом на море лежал штабель только что привезённых откалиброванных золотистых досок — для стен кабинета. Улыбнулся Грачёв, подумал: «Если бы для тебя только, я бы ничего и не отделывал».

Присел на край штабеля, предался размышлениям. На днях в цехе объявили: он получит квартиру в новом доме. Вот и настало время, когда он встал на ноги, мог бы обзавестись семьей, наладить иную жизнь, но странное дело: он этому обстоятельству не радовался и даже как будто жалел прежнюю бездомную жизнь. Ведь именно она, эта его бесприютность, предоставляла ему счастливую возможность строить дачу Очкину и таким образом часто видеться с Ириной и Варей. Видеть бывшую жену и дочь, слышать их голос было для него слишком важно, так важно, что он и представить не мог иной для себя жизни. Он любил Ирину, любил дочь; когда-то серьёзно думал, что любовь пройдёт и он встретит другую женщину, женщин встречал много, а в сердце жила одна — его Ирина, его первая и единственная любовь. И когда он в этом окончательно убедился, он не противился своим желаниям — искал всякую возможность быть к ним поближе, делать для них хоть что-нибудь приятное и полезное.

В пятницу во Дворце культуры Ленсовета проводилось совещание с народными заседателями района. Грачёв получил приглашение.

Из проходной завода, как всегда, вышли вместе с Сашей. И, как всегда, не торопились прощаться,— не спеша шагали, оглядывая дома на Кировском проспекте, по которому они обыкновенно шли к метро «Петроградская».

— Может, вместе пойдём? — предложил Грачёв, когда они остановились у входа во дворец.

— А что — пойдём! На людей посмотрим, послушаем, что говорят.

Сели в задних рядах. Справа от Александра сидела женщина со стопкой ученических тетрадей на коленях.

— И часто так вот собираетесь? — спросил у неё Саша.

— Нельзя сказать, чтобы часто,— два-три раза в год. А вы, верно, новичок?

Соседка оказалась разговорчивой, пояснила:

— Подростковая преступность растёт.

И заключила:

— Перестройка.

Очевидно, женщина была рада случаю поговорить. Продолжала:

— Взрослые — ладно, они знают, на что идут. А вот подростки... Этих мне всегда жалко.

Я учительница, дети — моя слабость.

И минуту спустя:

— Подростка осудить — полдела, главное — приглядывать за ним, не бросать на произвол судьбы.

— Как приглядывать? — спросил Грачёв.

— А вот послушайте ораторов, сейчас рассказывать станут.

Вступительная речь ведущего собрания была короткой. Затем к трибуне стали подходить заседатели, такие же, как Грачёв, заводские люди. Были и учёные, учителя — говорили о работе с несовершеннолетними. Поднялся на трибуну разметчик с завода «Медприбор» — сутуловатый, с птичьим лицом пожилой мужчина. Александр встречал его на заводе едва ли ни каждый день, но никогда не думал, что и он — народный заседатель. Говорил разметчик просто, слов не выбирал,— будто в курилке с товарищами:

— Многие из нас ведь как понимают дело: засудил человека, упрятал в каталажку, а уж как он потом будет жить, когда вернётся — знать ничего не знаю.

Кто-то перебил его:

— Ты о себе говори. За всех не расписывайся!

Разметчика словно кнутом хлестнули.

— И скажу! Я-то ребят условно осуждённых не бросаю. И домой к ним схожу, и в школу... Я, почитай, сорок подростков присматриваю. Вот они! — все тут записаны!

Он махал над головой записной книжкой.

Грачёв к тому времени знал многих подростков, почти каждого помнил в лицо, и адреса записал, телефоны, но вот чтобы, как разметчик, домой ходить, приглядывать — этого не делал. А все заседатели делают. Они не просто судят, выносят приговоры — они близко к сердцу принимают судьбу осуждённых, особенно ребят,— помнят о них, стараются помочь обрести место в жизни.

По дороге домой друзья шли молча. Грачёв думал всё о том же: они могут, они делают, а я не делаю,— видно не хватает мне доброты такой, благородства.

Шли по улице Ординарной. Свернули в сквер, сели на лавочку. Смотрели на балконы серого шестизэтажного дома. Все балконы были окрашены в белый цвет и на сером фоне выделялись, и были похожи на корзинки или гнёзда птиц.

Взгляд Грачёва скользнул по стене и остановился на цифре дома 21. Ординарная 21. Где я слышал этот адрес? Слышал же где-то! Хорошо помню.

И он вспомнил дело о разводе музыканта и директора Дворца культуры. И мальчика. И его слова, обращенные к родителям: «Не ссорьтесь, пожалуйста!»

Саша поднялся, протянул руку:

— Бывай! До завтра.

Они простились. Грачёву нужно было ехать на трамвае, но снова посмотрел на цифру дома 21. «А что, если мальчику тому помощь нужна?»

В нерешительности вновь опустился на лавочку, размышлял: «Будто бы повода нет для визита. Родители разводятся. Да у нас таких сотни, тысячи. Молодые люди теперь проще смотрят на брачные отношения; женщина свободна, независима, она не хочет прощать мужу ни грубости, ни измены. Развод ныне — дело обычное. И, может, в будущем их станет больше. Что же это? Что будет с семьёй, ведь семья — ячейка государства, наконец, дети...»

Хотел бы он знать мнение о разводах мудрецов древности, признанных юристов, педагогов, но знаний у него не было.

И как-то сразу решил: зайду к музыканту.

Квартира находилась на первом этаже, дверь высокая, двухстворчатая, обита жёлтой искусственной кожей. Сбоку — никелированная пластинка, на ней золотом надпись: «Карвилайнен К. В.». Надавил кнопку. И долго после звонка, мелодично разливавшегося за дверь, никто не открывал, и не было признаков жизни в квартире. Затем дверь открыл Роман. В иссиня-серых глазах застыл испуг и удивление:

— Вам кого?

— Тебя.

— Меня?

— Да, тебя. Я из суда. Помнишь?

Роман открыл дверь, и Грачёв очутился в просторном коридоре. Тут были стол журнальный, два кресла, книжные шкафы, — высокие, вместительные, похожие на библиотечные.

Роман пригласил Грачёва к себе в комнату.

Из глубины квартиры донесся голос: «Я женщина, закон на моей стороне!..» Мальчик, заслышав ругань, опустил глаза, сжался, точно от удара, и глухо, нетерпеливо повторил вопрос:

— Вы ко мне пришли?

— К тебе, Роман, — сказал Грачёв. — Помнишь, в трамвае... Потом в суде?

Мальчик насупился. Спросил угрюмо:

— Вы тоже судья?

— Ну, нет, Роман, я не судья; заводской я, слесарь.

Показал на бок мотора, лежавшего на подоконнике:

— А ты, Роман, тоже техник. Вот у тебя мотор от катера.

Роман оживился:

— Блок цилиндра разобрал. И карбюратор.

— Сломалось что-нибудь?

— С отцом в прошлое воскресенье на рыбалку ездили. Двигатель едва работал. «Не силит», — выразился Роман профессиональным языком шоферов.

— Трубка бензопровода... Поддай-ка её сюда. Ты когда с мотором возишься, вот в эти места смотришь? — Грачёв показал на гнезда цилиндров.

— Зачем смотреть туда?

— Душа тут мотора. Машина, она хоть и железная, а ласку тоже понимает. На неё внимательно смотреть нужно и слова хорошие говорить.

Роман достал из-под дивана медную трубку. Стал дуть. Воздух не проходил. Поднатужился. Из трубки, хлюпнув, что-то выскочило. Теперь воздух через неё шёл со свистом, свободно.

— Тут, как видишь, и моей помощи не потребовалось. Ты сам в одну минуту починил мотор, — сказал Грачёв. Роман был на седьмом небе, в нём пропала скованность, незнакомый человек уже не казался ему чужим.

— Папа! — закричал он. — Иди сюда, мотор починили!..

Вошёл Карвилайнен. Кивнул Грачёву и спросил у сына:

— Ты вызвал слесаря?

Грачёв поднялся.

— Извините, пришёл к вам без вызова. Если помните, в суде...

— А-а... Представитель власти. Гуманизм. Внимание к неблагополучной семье. Что ж, проходите сюда, мы рады гостям.

Говорил торопливо, вежливо, но в каждом слове слышалась ирония раздражённого человека.

Грачёв, следуя сзади, взял за руку Романа, вёл за собой.

В большой комнате, видимо, столовой, их встретила женщина в лёгком замшевом пальто, с сумочкой в руке. Изумилась незванному гостю.

— Чем обязаны?

— Да вот, к Роману. Извините за вторжение.

Она широко раскрыла беспокойно блестящие синие глаза, повела плечом. Жест её означал: «Если пришёл, не гнать же тебя!»

— Присаживайтесь.

Сняла пальто, бросила на спинку кресла. Хозяин выставил бутылку коньяка, вазу с конфетами. Тронул за плечо сына:

— Роман, шёл бы к себе.

— Если можно, пусть останется. Не помешает.

Хозяин наливал коньяк, а Грачёв мучительно придумывал первую фразу для начала разговора.

— Я живу на берегу залива, там у нас много моторных лодок.

— За встречу, товарищ!

Хозяин выпил и вместе с ним выпила хозяйка. Грачёв к рюмке не притронулся.

— А вы?

— Я не пью.

— Совсем?

— Да, совсем.

— Что так? Болезнь какая или... секта.

— Секта? Не понимаю.

— Баптисты там или трясуны. У них, по слухам, запрет на вино.

— А если человек не пьёт — так уж нельзя, что ли, не пить вино?

— Можно, конечно, да только я таких людей не встречал. В наше время нельзя без вина.

Ему возразила жена:

— Ты завладел инициативой и не даёшь слова сказать, а человек для чего-то пришёл же к нам.

— Да нет, пусть говорит — поощрил хозяина Грачёв.— Я пришёл так, для порядка заглянул. Вот с Романом мотор посмотрели.

— Я в ваших словах, мил человек, слышу назидание, некий агитаторский напор. А я, извините, агитации не поддаюсь. К тому ж, позвольте вам заметить, надо очень много знать, чтобы иметь право осторожно советовать. Агитаторы нарушают эту главную этическую формулу, потому их, обыкновенно, плохо слушают.

— Я не агитатор, не имею чести, но против винопития выступаю резко и определённо.

Научен жизнью, а к тому же и читал кое-что. Вот, к примеру, недавно прочёл, как русские дворяне детей своих наставляли: «От... чужеложества, игранья и пьянства должен каждый отрок себя вельми удерживать и от того бегать, ибо из того ничто иное вырастает, кроме великой беды и напасти телесныя и душевныя, от того же рождается и погибель дому его, и разорение пожиткам».

— Память у вас...

— Не жалуясь.

— А я вижу,— поднялась вдруг хозяйка,— вы это не Романа, а нас пришли воспитывать. Если так, извините: я удаляюсь. В другой раз поищите в ином месте объекты для своих педагогических упражнений.

Подхватила пальто, сумку и скрылась за дверь.

Карвилайнен зло и презрительно посмотрел ей вслед. И ничего не сказал, а лишь опустил глаза.

Поднялся и Грачёв, но хозяин взял его за руку, попросил остаться. Ему хотелось выпить, и нужен был собеседник. Он повернулся к сыну, видно, хотел отослать Романа к себе, но подумал, что гость снова за него заступится, оставил в покое.

— Дворяне наставляли отроков, а мы народ взрослый. Полагаю, вы не откажетесь выпить со мной рюмочку. Как и всё в природе, человек является продуктом своей среды; среда в свою очередь простирается во времени, в абсолютно точных географических координатах, в конкретном сообществе людей. Представьте боярина допетровских времен в джинсах и штормовке. Смешно? Вот так же смешно будет, если мы с вами напьем парики и малиновые камзолы. Не пить!.. Извините, но это же явная глупость! Я — дирижер и, чтобы мне давали оркестр, залы, должен ладить с начальством. Там пообедал, там сходил в гости, а то и пригласил к себе. И что же? Поставлю перед ним коньяк, а сам буду пить кока-колу? Да полноте! Вы лучше меня всё это знаете. Вот и современный поэт говорит:

Нам, существам разумным,
нужен хмель... Напейся ж
пьян, читатель дорогой.

И ведь не где-нибудь напечатано — в центральной газете. И поэт-то известный! Лауреат! Так кого же я буду слушать — вас или его? Да что там! Выпьем!

Грачёв поднял рюмку, кивнул, но пить не стал. И, видя недовольство хозяина, как бы оправдываясь, заговорил:

— Вы правы; не пить совсем — трудно: смотрят на тебя, как на белую ворону, дивятся. «А-а, браток, сердце шалит — отпил своё» или обидное скажут: «Дурака ломаешь». Плыть против течения не всякий отважится. И всё-таки — надо. Ради тысяч и миллионов несчастных, попавших в беду.

— Вы эту беду преувеличиваете.

— Если не возражаете, приведу заключения учёных?

— Где они напечатаны?

— В Большой медицинской энциклопедии. «Алкоголизм,— написано в томе первом,— является причиной каждой третьей смерти».

— Постойте, да кто вы такой? Вы, наверно, лектор по вопросам алкоголизма. Но мне-то... мне-то на кой чёрт эти лекции! Я, слава Богу, пить умею, и пьяным меня никто никогда не видел. А вот памяти вашей я завидую, скажите, чтобы запомнить, сколько раз вам надо прочесть текст?

— Я делал выписки для профессора по его просьбе. В клинике, где я однажды лежал. Но погодите, я не всё сказал. В энциклопедии отмечаются транспортные происшествия. Не знаю данных по нашей стране, но вот что сообщило статистическое управление ФРГ: «Только за первые девять месяцев 1982 года на дорогах ФРГ произошло более 900 тысяч автомобильных катастроф, в результате которых погибли 8,5 тысячи человек, а около 350 тысяч получили ранения и увечья. Одна из основных причин несчастных случаев — нетрезвое состояние водителей и самих пешеходов».

Карвилайнен налил себе очередную рюмку, выпил один.

— Это что — тоже наизусть?

— Да, запомнил почти дословно.

— И много у вас,— Карвилайнен похлопал себя по лбу,— цитат таких уместилось?

— К сожалению, тут почти и весь мой багаж. Ещё меня поразило одно место из книги «Бехтерев в Петербурге-Ленинграде». Там говорится: «От алкоголиков рождаются на каждые сто человек: десять уродов, восемь идиотов, пятнадцать больных падучей, пять алкоголиков. Из ста самоубийств — половина алкоголики».

— Ну и ну! Сыпанул ужасов, как из мешка! И вот что любопытно: будто бы и верно вы всё говорите — наука, авторитеты, а мне не страшно.

— Постойте! Позвольте ещё несколько слов. Тут мои собственные расчёты. Однако, если и они не подействуют...

— Валяйте. Но только чур: последняя сентенция. Больше не выдержу. Увольте.

— Если допустить, что в нашей стране пьют столько же, как и в других...

— Больше!

— Нет, не больше. Есть страны, где пьют больше нашего. Так вот, по оценке японцев и американцев в Хиросиме от атомной бомбы погибло 75 тысяч человек. А в 1980 году в СССР от алкогольного террора погибло примерно 900 тысяч человек. Столько людей могли погибнуть от двенадцати хиросимских бомб.

Карвилайнен качал головой. Потом глухо, как бы беседуя сам с собой, заметил:

— Двенадцать атомных бомб! Сыплются на головы ежегодно. Безо всякой войны. Многовато, конечно. И вы говорите правду, да только вдолбить эту истину каждому под черепную коробку вам не удастся. И если за такую работу возьмется миллион таких, как вы агитаторов, всё будет зря, вас будут слушать те, кто не пьёт, те же, кто пьют, им наплевать на бомбы. Он выпил, ему хорошо, а до остального — хоть трава не расти. Так-то. Вы даже Романа не напугали.

Он положил руку на плечо сына:

— А теперь скажите нам: вы сами-то пили когда-нибудь? Ну, хоть понемногу?

— Да, пил. И не всегда в меру.

— Позвольте! Но как же это вы? Нас-то взяли наставлять?

— Потому и наставляю, что сам-то я дно увидел. Других хочу уберечь.

— А-а...

Грачёв поднялся.

— Мне пора. Спасибо за угощение. До свидания.

И медленно, с достоинством направился к двери. Шея, щёки занимались жаром. «Тоже мне... воспитатель», — корил он себя, одеваясь в коридоре.

Его провожал Роман. Прощаясь, спросил:

— А вы ещё к нам придёте? Приходите, пожалуйста.

В конце октября, сдавая продукцию месячного плана, Вера Михайловна много ходила по цехам, часами простаивала на сквозняках в складе готовых изделий. Простудилась и слегла в постель.

Мучительно страдала от вынужденного безделья. Немного оживлялась вечером, когда приходил с работы сын, жадно вдыхала едва уловимый запах родного цеха, шедший от Александра. Просила рассказывать цеховые новости. Подавая ей в постель чай, Саша спрашивал:

— Ну, как она, хвороба?

— В прошлый раз два месяца провалялась, как бы и теперь...

— На два месяца не рассчитывай. Ждут тебя на заводе. Мы с Грачёвым нынче три «почки» на экспорт сдали — в немецкую землю, в Баварию отправили. А ты поменьше думай о делах — все болезни, говорят, спокойствием лечить надо.

Каждый раз, возвращаясь с работы, он заходил в магазин и покупал для матери что-нибудь вкусное. Старался угодить и порадовать Веру Михайловну.

Однажды сказал ей:

— К нам художник приходил. Грачёва рисовал. Для галереи «Лучшие люди завода».

— Не рановато ли? — осеклась на полуслове, спросила:

— Как он держится?

— О чём ты?

Взмахнул рукой Александр, точно отгонял кого.

— Mam, зачем ты так о Грачёве. Трезвенник он и капли в рот не берёт. А в прошлом? Мало ли что с человеком было. Ну, пил. Другие, что ли, не пьют. А что в милицию не попадают — это ещё неизвестно, кто и за что туда попал.

— Ну, ну. Хорошо, если так. Но у него, сынок, в трудовой книжке...

— Ах, анкета вам нужна, а не человек. Привыкло ваше поколение бумажке поклоняться. Вам чистеньких да тихоньких подавай, тех, про которых народ говорит: «В тихом омуте черти водятся. А Грачёв, он мне за отца стал».

Вспыхнула лицом Вера Михайловна; великую тайну души задел сын. Без отца воспитывала, а он с младенчества тянулся к мужчинам.

— О пьянстве же: он не только сам не пьёт, но и других убеждает. Если случится, разговор заведут, он такую отповедь даст! За абсолютную трезвость ратует.

— Где ратует? В цеху, что ли? Наши осмеют его. У нас будто и нет таких, чтоб вовсе не пили. Мы с тобой — и то, в другой раз, к празднику...

— Не скажи, мать. Я, кажется, на его сторону перейду — объявлю для себя сухой закон. И в цеху ребят убеждать стану. Я и тебя призываю: в семье объявим и на службе поведём борьбу. Ты там у себя в конторе, я — в цеху. А? — Потом тихо, в раздумье сказал:

— На днях Константин Павлович мальчонку в цех привёл. Говорит: сын музыканта, хочет посмотреть, как мы трудимся. Мальчонка тот — Романом его зовут — раза три потом к нам приходил.

Вера Михайловна пролежала месяц, и не было заметного улучшения, лишь только поворачивалась с боку на бок да с трудом на несколько минут поднималась с постели, и тут случилось новое несчастье: заболел и Александр. Да так, что и он едва поднимался с постели. Врач предлагал лечь в больницу, но Саша отказался.

Грачёва, пришедшего из цеха, лишь просил так поставить диван, чтобы он мог видеть Веру Михайловну и чтобы можно было ему читать книги. У него вдруг поднялось давление, — в затылке нудно, болезненно шумело, голова точно ватная, и глаза болели, словно в них сыпанули горячего песка. «Вот незадача! — ворчал Александр, когда слесарь из соседней бригады вёз его на собственной машине домой. — И болезнь будто бы стариковская. На, тебе — давление!» Вспомнил, как изредка во время большой усталости у него побаливала голова, как сестра в медпункте однажды, смерив ему давление, сказала: «Пока у вас пониженное, но не переутомляйтесь: может подскочить». Не придал тогда значения её словам, ничего, мол, со мной не станется, некогда мне болеть, недосуг.

Лежал на диване — ни читать, ни смотреть телевизор... А Вера Михайловна, испугавшись за сына, почувствовала себя хуже. Александр, желая подбодрить мать, пытался шутить: «Чем тебе не дом отдыха — лежи да поглядывай в потолок».

К ним ежедневно приходил после работы Грачёв, приносил продукты, готовил еду. Смотрела на него Вера Михайловна, дивилась: до чего же верный и добрый друг у Александра. Жалела, что у женщин таких друзей не бывает.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Во время обеда Грачёву подали письмо. Оно было от брата.

«В газете прочитал заметку о трудовых доблестях Константина Грачёва. Ты ли это? Если ты — отзовись. Весь июль буду в Ленинграде, на отборочных соревнованиях по боксу. Приходи во Дворец спорта от 15 до 21 часа».

На такси подъехал ко Дворцу спорта. Испытывал угрызения совести от того, что так долго не писал Вадиму, даже не знал, где он теперь служит. Кончил военное училище, потом академию. Был на третьем курсе, когда они ещё переписывались.

Во Дворце на втором этаже море света, много людей. Влево коридор — комнаты, секции, кружки. Вправо — огромный, как стадион, корт или манеж. И кругом гимнасты. Бегают по бревну, прыгают через козла, крутятся на кольцах, летают над брусьями. На тонком цвета морской волны мате тренируются три гимнастки, худенькие, как газели, подростки. Одна из них покрепче телом, повыше ростом «летала» с угла на угол через весь мат, крутилась колесом. Руки-ноги, словно спицы, сливались в кружевном вихре, а в центре колеса розовым пятном выделялось лицо. И точно звёздочки сверкали глаза.

Грачёв засмотрелся на неё. Он всегда к гимнастике относился с тайным благоговением, как к чему-то высшему, доступному немногим. По телевизору не пропускал передачи, если там были соревнования гимнастов. Знал многих мастеров, помнил имена, но вот такого торжества гармонии, такой бурной стихии он, кажется не видел.

Изумлённый, стоял у колонны, глаз не сводил со спортсменки. С другой стороны колонны, рядом с ним — стайка ребят. «Галка-то, а? Сильна, чертовка! В лидеры рвётся». Другой голос: «Крученую нить придумала, дважды ногу подвёртывала, с палочкой ходила, а чуть поправится — снова за "нить" принимается».

А Галя, словно бы зная, что на неё смотрят и о ней говорят, набирала скорость и крутила свою «нить» так, что в глазах рябило. Грачёв, как истинный спортсмен, всё больше проникался к гимнастке уважением. А когда она, открутив очередной виток, высоко подскакивала и, описав в воздухе замысловатый вензель, приземлялась и замирала на краешке мата, он с изумлением разглядывал гибкую и крепкую, как стальная пружина, фигурку. Как и все гимнастки, она казалась совсем юной, ей было на вид не более шестнадцати лет. В то же время и грудь, и плечи и особенно красиво посаженная кругленькая головка выдавали законченное физическое развитие. Весь её облик состоял из лёгких, летучих, заманчиво-привлекательных линий. Сильно развитая мускулатура не нарушала плавности форм, мягких переходов,— не было в ней той мужественной угловатости, характерной для многих спортсменок, особенно юных, не успевших ещё оформиться.

К ребятам подошёл темноволосый, с чёрными круглыми глазами и стрелками-усиками спортсмен. «Боксерская фигура»,— подумал Грачёв, оглядывая атлета, но тут он вдруг узнал в нём своего брата. Вышел из-за колонны:

— Вадим!

— Костя!

И они стиснули друг друга в мужских объятиях. Увлеченные встречей, не заметили, как ребята из группы Вадима, один за другим, разошлись, не успев познакомиться с Грачёвым-старшим.

— Ничего,— сказал Вадим.— Я тебя представлю им там, в нашей комнате.

Он на минуту замялся, голос его зазвучал глуше:

— Они просили... Они все хотели бы...— ну, как тебе сказать,— ну, твой удар, удар «Кости Грачёва».

Вадим тронул пуговицу на пиджаке брата, сник, присмирел — кожа лица его и кончики ушей заметно покраснели.

— Но ты знаешь... Стоит ли всем-то выкладывать секрет. Сегодня они друзья, завтра — соперники; двинет тебя твоим «грачёвским» ударом. А?

Костя не возражал. Оглядывая брата, дивился его стати, бьющей наружу удали, молодецкой силе.

— В каких войсках служишь?

— В ракетных. Недавно капитана получил, батареей командую.

— Батарей теперь не те, хотя и у нас ракеты были.

— Теперь компьютер. Всё на электронике,— с гордостью заметил Вадим, но дальше не распространялся. Давал понять: секретно.

Из-за колонны неожиданно вышла девушка — в сером плаще, без головного убора, без сумки, в руках вертела жёлтую розу.

— Здравствуйте! Хочу нарушить вашу семейную идиллию. Вы — Константин Павлович Грачёв? Я — Галина Ивлева.

Протянула руку, улыбнулась. Грачёв, легко пожимая ей пальчики, сказал:

— Это вы тренировались тут? Красиво. Мне кажется, у вас не будет соперниц. Все первые места ваши.

— Нет, я из тех, в которых верят, а они подводят. Вы, наверное, и сами знаете: среди спортсменов есть такие.

Бросила на Вадима небрежный взгляд и снова повернулась к Константину.

— Я старая. Ухожу из спорта.

На него смотрела без жеманства, просто, доверчиво. Нет, не подростка он видел перед собой, но зрелую девушку. «Ей, пожалуй, будет лет двадцать, а то и больше». Свет неоновых ламп золотил её волосы. И брови, взметнувшиеся крутым изломом под чёлкой волос, казались коричневыми, хотя, наверное, они были чёрными.

«Акцент! Говорит с акцентом».

— Вы из Прибалтики? Нерусская, наверное?

— Почему?

— Акцент. Едва заметный, но всё-таки я слышу.

— Я долго жила за границей.

Выражение лица у неё было безыскусственным. И голос звучал искренне. «Удивительно, как она лишена всякого кокетства,— продолжал размышлять Костя.— Очевидно, это идёт у неё от большого заряда энергии, от воли и убеждённости,— от характера».

— Позвольте мне ещё раз вам сказать: меня поразило ваше искусство, именно, искусство — иначе не назовёшь эти ваши кружева, которые вы с такой быстротой плетёте, выписываете. Не знаю, как назвать это на языке гимнастов.

— Ничего особенного, уверяю вас. Другие девочки всё делают лучше меня. И это потому, что у них ваша — вернее сказать,— наша русская школа. А меня в детстве и затем долго ещё тренировал американский тренер. Он очень добрый человек и много знает, но у них школа — жмут на технику. Мало чувства, мелодики, пластики. А скажите мне, пожалуйста: это правда, что вы были чемпионом мира? Если правда — поучили бы вот их. Она смерила ироничным взглядом Вадима.

— Я пришёл повидаться с братом. А боксом я занимался, но это было давно. Мне нечего сказать молодым ребятам.

— Они все хотят стать, как вы, чемпионами,— засмеялась Галя.

Беседу их прервал бежавший по коридору парень. Он махал руками и кричал:

— Вадим! Тебя на ринг. Живо!

— Ну, ладно,— сказал Вадим.— У нас нынче тренировки, а вот завтра я свободен. Ты приходи, Костя. А?..

Он пожал брату руку, кивнул Гале и побежал.

Чуть в стороне стояли два парня, и как только Вадим удалился, они подошли к Гале:

— Мы тебя ждём. Пошли?

Галя склонилась к Грачёву, тронула его за локоть:

— Вот... за мной пришли.

Парни смутились, очевидно, приняли Грачёва за какое-то важное лицо, стали неловко пятиться.

Галя смеялась, а Константин, направляясь к выходу, говорил:

— Не завидую брату. Кавалеров-то у вас вон сколько!

Галя на это ничего не сказала, а спросила:

— Вы женаты? У вас много детей?

— Я не женат, но у меня есть дочь. Ей шестнадцать лет. Почти как вы.

— Мне скоро двадцать четыре. У нас девочки все молодые, а я старушка. Таких списывать надо. Я даже в невесты уже не гожусь.

Грачёв удивился такой откровенности, с какой Галина обсуждала с ним, человеком незнакомым, такие глубоко личные вопросы.

— Вы меня проводите? — ну, вон туда, до остановки. Меня ещё никогда не провожал чемпион мира.

— Конечно, конечно, я с удовольствием. Только какой же я чемпион мира? Всё в прошлом. Был когда-то. Даже не верится.

— Все равно — чемпион! Одолел всех, стал первым на земле. Таких людей нельзя не уважать. В них сила, дух, что-то, знаете, высокое.

— А я вот вами любовался. Стою у колонны и рот открыл от изумления. Такая, думаю, хрупкая, изящная, а какого совершенства достигла!

— Обо мне не надо. Прошу вас. Неудачница. Во всём — и в жизни тоже. Подруг хороших нет, друзей. Ханжа я по натуре. Чуть что не по мне, я нос ворочу. Слабости людям прощать не умею. В Америке говорят: жениться и замуж выходить надо по глупости, а как в ум войдёшь, трудно будет. Я, выходит, в ум вошла.

И неожиданно спросила:

— Вам, наверное, тоже все женщины не нравятся?

— Скорее, наоборот: я им не нравлюсь, а они-то мне очень даже нравятся.

Оба от души рассмеялись.

При входе на мост Грачёв остановился. Вспомнил, что по поручению судьи должен зайти к осиротевшему пареньку.

— Вы живопись любите?

— Очень. А что?

Тут недалеко живёт внук художника, он покажет нам картины деда.

— А фамилия художника?

— Метёлкин.

— Я знаю этого художника. В прошлом году была выставка его картин. Он пишет горы.

— Да, горы. Но художник умер, и жена его умерла. Остался их внук Юра Метёлкин.

— Так я охотно. Я ведь и сама немножко рисую. Очень люблю живопись.

И минутой спустя, спросила:

— Можно, я вас возьму за руку. Вы такой сильный. Я с вами ничего не боюсь.

Она смеялась, и трудно было понять её затаённые мысли. Впрочем, Грачёв был почти уверен: Гале нравится Вадим и оттого-то с такой теплотой и доверчивостью она относится к старшему брату своего возлюбленного.

Часу в восьмом они вошли в квартиру Юры Метёлкина и застали здесь такую сцену: два дюжих молодца вытряхнули содержимое письменного стола, рылись в бумагах. Юрий кричал в трубку телефона:

— Милиция! Это милиция?

— Что здесь происходит? — шагнул к письменному столу и взялся за выдвинутый ящик Грачёв.

— А кто вы такой? — вскинулся на него рыжебородый дядя лет пятидесяти. Кулаки Костины непроизвольно сжались. «Вот если бы перед этим я выпил хотя бы рюмку вина, — думал Константин, стараясь умерить свой гнев, — я бы его двинул».

— Они из комиссии по наследству деда! — кричал от телефона Юрий. — Забирают письма, документы. Я не хочу, не отдам, — ни одного листка.

Грачёв тронул за руку Галю, извинился и предложил ей сесть в кресло. Она продолжала стоять рядом, пристально, участливо смотрела на него, — видимо, боялась, как бы он не ввязался в драку. Их взгляды встретились, они каким-то тайным чувством поняли друг друга, и Грачёв, улыбнувшись, сделал рукой жест: не беспокойтесь, всё будет в порядке.

Незнакомцам сказал:

— Я не знаю законов, но если внук художника, его наследник, требует...

Рыжебородый тоже перешёл на мирный тон:

— Мы из комиссии, действуем из добрых побуждений, и непонятно, почему мальчик беспокоится.

И обратился к Юрию:

— Ты разве не хочешь паблисити для деда?

— Какое ещё паблисити?

— Ну, славы, известности. Ты дай нам его письма, дневники, а мы подготовим к печати альбом его рисунков, биографию. Ну! Что же тут дурного?

— Ничего я вам не дам! При жизни дедушки не заходили, он вам был не нужен, а кто-то ругал его в статьях. Он умер из-за вас: у него сердце болело.

— Ты, мальчик, говоришь глупости. Ты маленький и не можешь знать наших дел. Мы, коллеги твоего дедушки, любим и ценим его творчество. И ты напрасно к нам вот так нехорошо, недружелюбно относишься.

Мальчик сгрёб со стола бумаги, сквозь слезы сказал:

— Я внук дедушкин, скоро вырасту и во всём разберусь сам.

Грачёв обнял мальчика за плечи.

— Вы нас извините, но мы тут сами... Выясним, наведём справки, а потом уж...

— Но позвольте! — не унимался рыжебородый. — Мы хотели бы знать... У мальчика нет родственников.

— Есть и родственники, и завещательное письмо художника, — оно в суде, а вы, друзья хорошие, если не хотите иметь осложнений, прекращайте свою операцию.

Незванные гости нехотя удалились. Грачёв плотно прикрыл дверь.

— Ты, Юрий, утри слезы и больше их никому не показывай. Ведь мы с тобой мужчины. Верно? А насчёт дедушкиного архива не беспокойся. Мы сегодня же сменим замки в мастерской и отныне вместе будем стоять на страже дедушкиных картин, дневников и писем. А сейчас позволь представить тебе нашу гостью: её зовут Галя. Она любит дедушкины картины, но сейчас мы промёрзли на невском ветру и хотели бы чаю.

— Я сейчас. Я живо!

— О-о! Это мужской разговор!

Грачёв принял от Галины плащ, предложил посмотреть развешенные по стенам картины. Сам пошёл на кухню помогать Юрию. На вопросительный взгляд мальчика сказал:

— Гимнастка. Невеста моего младшего брата.

Юра приподнялся к уху Грачёва, шепнул: «Красивая!..»

— Понимал бы чего!

— Был бы жив дедуля, портрет бы с неё написал.

А через полчаса они сидели за большим обеденным столом. Грачёв, помешивая чай, и ни к кому в отдельности не обращаясь, спрашивал:

— Ну, Юрий, как жить будем?

С Юрием Грачёв познакомился в суде, встречались с ним несколько раз — обсуждали, как жить дальше, идти ли Юрию в детский дом или жить под чьей-нибудь опекой. Хотелось Юрию жить с дядей Костей.

— Ну, чего молчишь?

— Не знаю, — буркнул Юрий.

Хотел прибавить: «Я как вы», но сдержался. Он уже давно подготовил себя к мысли жить вместе с дядей Костей, но вот как и где? Не знал. Втайне он надеялся, что дядя Костя переедет к нему. Ездить-то в Комарово далеко.

Грачёв не стал пытаться его, заговорил серьёзно, как со взрослым, и так, чтобы и для Гали разъяснилась ситуация. Галя же слушала их разговор с нескрываемым изумлением: она то на Костю смотрела во все глаза: серьёзно ли он всё это говорит, то на Юрия. Она хотела бы спросить его: «А где твои родители?» Но из чувства деликатности молчала, хотя тайна эта всё больше её захватывала и она со всё возрастающим вниманием прислушивалась к разговору.

— Доложу тебе, Юрий — дом в Комарово мне бросать нельзя. И тебе тут без присмотра жить не очень удобно. К тому же, не сегодня-завтра тебе предложат в детском доме жить, а квартира и мастерская к другим перейдут. Ведь тебе нет и четырнадцати.

— А куда девать вещи, мебель? У дедушки много картин.

— Обо всем мы с тобой позаботимся, но пока надо решать главный вопрос — твою судьбу. Если ты хочешь, я тебя усыновлю и тогда наша судьба будет общей — до конца. Квартиру твою нам оставят, а мастерскую...

Юрий сник. Трудно ему было расставаться с мастерской. В то же время своим уже недетским умом он понимал правоту дяди Кости. И Галина, сидевшая рядом, обняла его, привлекла к себе. Юрий от этой неожиданной ласки расчувствовался, слезы полились у него по щекам.

— Ну-ну, мастерскую пусть берут, а картины мы в Комарово перевезем. И мебель тоже.

Лицо Юрия прояснилось, он смотрел на Грачёва, и в глазах его светилась благодарность к этому большому, сильному человеку.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Однажды накануне выходных Очкин позвонил в цех Грачёву:

— Приготовь катер. Прогуляемся по Финскому заливу.

И не спрашивал, хочет этого Грачёв или не хочет, — Очкин привык повелевать.

Катер куплен сразу же после переезда Очкина в Ленинград и был сдан на хранение сторожу лодочной станции близ того места, где Очкин получил надел и затеял строительство дома. Катер большой, с крытой кабиной на два отделения: спальное на четыре человека и кают-компания на двенадцать — шестнадцать мест. Грачёв хотел бы пригласить брата с Галей, Мартыновых, ребят бы своих прокатить, да опасался, что Очкин откажет. Не любит он быть на людях, устаёт от них на работе.

— Что молчишь? Поедем или нет? К тебе, говорят, брат приехал — зови брата.

— А Мартыновых — Веру Михайловну с сыном?

— Зови Мартыновых.

— Со мной ещё ребята будут.

— Какие ребята?

— Мои. Куда я их дену. Роман. Юрий.

— Чего ты к ним привязался, не понимаю.

— Усыновил Юрия.

— Ну и ну! Насовсем, что ли?

— Как же ещё! Ясное дело. Теперь мы — одна семья. А Роман его товарищ.

— Химик ты, Костя. Такими вещами не шутят. Вдруг опять задумишь?

— Теперь нет, не задурю. Сказал же, — с языка чуть не сорвалось «тебе» — не посмел; хотел сказать «вам» — не сказалося.

— Зови и ребят! Да только двигатель проверь. Не подвёл бы!

— Двигатель проверю, а и откажет — не страшно. У меня на этот случай парус есть, а ребят натаскаю ставить его, убирать и складывать.

Утром в воскресенье погода была ненадёжна: со стороны Кронштадта набежали кучево-дождевые облака, спеленали солнце. Грачёв, поёживаясь от сырой прохлады, спустился к заливу, расчехлил катер — белый с игривым названием «Смышлёный». Уткнувшись тупым носом в песчаный берег, он резво качался на волнах. Зимой «Смышлёный» стоял на берегу на деревянных колодках, зачехлён и смазан, а едва Финский залив освободился от ледяных торосов, Грачёв по просьбе Очкина осмотрел его, сделал пробные прогулки, подготовил к летнему сезону. С наступлением тепла они с Очкиным несколько раз плавали по Финскому заливу, огибали Кронштадт, проходили Ломоносов, Петродворец и дальше, описав дугу, приближались к Ленинграду, и уж затем, держась северного побережья, возвращались в Комарово.

Сегодня Грачёв с тревогой поглядывал на небо. Дождя не обещали, но облака быстро летели над серой рябью залива. На востоке они образовали тучу, и солнце лишь изредка снизу пробивало её толщу и мощными золотыми столбами упиралось в купол неба.

Вот и лето в разгаре, а настоящего тепла у невских берегов ещё не видели, холодом дышат датские проливы, ветер гонит и гонит по небу дождевые тучи. По прогнозу ожидался ясный день. Где же он?

Участники экспедиции накатили разом: на служебной «Волге» прибыла семья Очкиных; вслед за ними подъехали на собственном «жигуленке» мать и сын Мартыновы; и немного позже, с одной электрички, дружной ватагой скатилась с песчаного холма молодёжь — во главе с капитаном. «При полном параде,— подумал Константин, выйдя из капитанской рубки и оглядывая брата в идеальной, горящей золотом погон и пуговиц офицерской форме.— У него, верно, нет гражданской одежды. Сказал бы мне».

— Дядя Костя! Я с вами — на мостик! — кричал Роман.

— И я! — бежал вслед за ним Юрий. К трапу подходила и Галина. Она была в длинной, замшевой песчаного цвета юбке, в таком же жакете; на руке светло-коричневый под цвет волос плащ с капюшоном. Вадим протянул ей с катера руку, но она, легко отстранив её, вбежала на борт. И Костя-капитан подал ребятам команду: «Убрать трап!»

Катер, описывая плавный полукруг, лёг на курс. Впереди, над тем местом, где должен быть Кронштадт, показались светлые облака. Отражая лучи ещё неяркого в эту пору солнца, они воспламенили верхушки волн серебряной ослепительной рябью. Грачёв весь был поглощён управлением катера; не видел, что происходило в кабинах и на палубе. Справа от него сидел Роман, слева — Юрий. Счастливые, они во все глаза смотрели вперед и каждый из них чувствовал себя капитаном.

Грачёву было хорошо с ребятами. В общении с Романом и Юрой он не только занимал время, но и удовлетворял ещё какую-то высшую потребность души: как бы утверждал себя среди людей.

На палубе возле бортиков — слева и справа — никого не было. И на переднюю палубу — там принаитованы к полу две лавочки и могли ещё стоять два-три человека — никто не выходил. «Женщины в кают-компании,— подумал Грачёв,— а Очкин и Вадим зашли в спальный салон, там Очкин, наверное, открыл бутылку».

Берег за кормой едва виднелся, а впереди по курсу крепость-остров хотя и приблизился, но был ещё далеко, и дома, и береговые укрепления едва различались.

— В море вышли,— объявил ребятам Грачёв.— Не страшно вам?

— Тут везде Финский залив,— заметил Роман.

— Нисколечко не страшно,— заверил Юрий.

— Это он так называется — залив,— продолжал страшить капитан,— а чем не море! Северное, суровое. Тут если вправо свернём — в Балтику выйдем. Там штормы, крутая волна — ой-ей-ой!..

— Дядя Костя! — придвинулся Роман.— Дай штурвал. Я сумею.

— Нет, Роман. Штурвал я тебе не дам. Волна свирепеет. Вон видишь — всё круче забирает. Подставишь бок — катер словно щепку опрокинет.

Ребята нахмурились: да, конечно: катером управлять — дело нешуточное. С восторгом смотрели они на дядю Костю. И чего он только не умеет делать!

Облака над островом Котлин сумрачно-лиловые, сверху они подрумянились, будто пирожки на огне; длинной и нестройной чередой тянулись к Ленинграду. На глазах разделялись, рвались на части, а там и вовсе растворялись в прозрачной синеве неба. Света становилось больше. Ветер стихал. Но странное дело: движения воздуха почти не слышалось, а волны вздымались всё выше, их бег становился резвее.

— Вон-вон! — показал Грачёв ребятам,— блестит полоска. Там катера и лодки. Туда пойдём. Там мелко, можно стать на якорь. Рыбу ловить будем.

Развернул катер, взял новый курс. На палубе появились пассажиры. Вера Михайловна, Ирина и Варенька, заглянув на мостик, поприветствовав ребят и капитана, прошли к

носовым лавочкам. Справа к окну рубки подошли Вадим и Галина. Вадим был навеселе. Фуражку сдвинул на затылок, волосы взъерошены.

— Капитан! Умерил бы качку! Женщины в кают-компании стол накрыли.

— Постараюсь.

— Послушай, брат! Я хочу жениться. Благословляешь? Вот невеста!

Хотел обнять Галину, но та отстранилась, строго посмотрела на Вадима и покраснела.

— Характер! У неё характер, понимаешь? Без пяти минут чемпионка. Ты, Костя, как думаешь: чемпионки выходят замуж?

Вадим снова пытался обнять Галину, но та решительно отстранилась; он держал ее за руку — сильно, грубо, и она, видимо, не желая усугублять сцену, будто бы покорилась. Константин на лице брата заметил выражение, какое обыкновенно бывает у пьяных. Всё внутри у него вздыбилось. Он хотел бы схватить Вадима, швырнуть на носовую палубу. А Галина?.. Она спокойно, просительно смотрит в глаза пьяному. Смотрит с мольбой, почти со слезами. Лишь бы тот не буянил.

— Галя! — позвал Костя. — Идите сюда. Садитесь рядом.

Попросил Романа сходить в кают-компанию, прикрепить тарелки. Галя села рядом с капитаном. Бегство Галины подлило масла в огонь. Вадим, шатаясь, перешел на левую сторону, дернул ручку дверцы. Она не подалась. Тогда он с яростью рванул ручку и с мясом выдрал замок. В руке у него осталась ручка, и он ошалело вертел ею перед носом, словно не понимая, что произошло. Галя с ужасом приклонилась к Косте, схватилась за его руку. Костя ни одним движением не выдал закипевшую ярость. Из последних усилий сдерживал себя.

Нос катера уже резал полосу мелководья. Здесь Грачёв собирался встать на якорь, но сейчас он прибавил газу и взял курс на ближайшую лодочную станцию. Галя с минуту, вся дрожа, сидела возле него, но затем покинула мостик, подала руку Вадиму, повела его на лавочку.

Катер ракетой летел к берегу.

Причалили к пирсу. И Грачёв, сойдя с мостика, позвал брата. Сказал:

— Послушай, Вадим, я забыл купить сигареты. Вон на берегу ларёк — купи, пожалуйста, пачку сигарет. Я тем временем посмотрю двигатель.

— Но ты же не куришь.

— Мне нужно. Сходи, пожалуйста.

Вадим спрыгнул на пирс и нетвёрдой походкой направился к табачному ларьку. Грачёв же сильно оттолкнул катер. Взошёл на мостик и дал газу. Катер, круто взрезывая волны, устремился в море. Юрий дернул за рукав Константина.

— Там дядя Вадим. Мы его забыли.

— Нет, Юра, дядя Вадим просил высадить его в Кронштадте. Подошла Галина, села рядом с Костей. Сказала:

— Зачем вы это сделали?

Не сразу ответил Грачёв. Он в эту минуту с ужасом думал о том, что и Вадим, как и он, унаследовал страшное свойство: буйство в пьяном виде.

Сказал Галине:

— Слоны взбесившегося собрата убивают.

Больше он не говорил — до самой той минуты, когда, достигнув мелководья, поставил катер в ряд с другими лодками и дал команду ребятам бросить якорь.

Волнения моря почти не было, и так долго ожидавшийся обед проходил спокойно, как в ресторане. О Вадиме никто не спрашивал, и только Очкин, выйдя из спальной каюты и не найдя своего товарища по выпивке, буркнул себе под нос:

— Кого-то тут не хватает.

Как-то братья Грачёвы решили пройтись по вечернему Ленинграду.

Некоторое время молчали. Первым заговорил Вадим.

— Ты чего это воспитывать меня вздумал? Я этой глупостью не страдаю, а если и выпью, так с толком, в милицию не попадаю.

— А там, на катере, тоже пил с толком?

— Там перебрал малость, потому как Очкин: пей да пей! Директор всё-таки, как отказать?

— А у вас, в армии — ну, там, где ты служишь — многие пьют?

— Пьют и бросать не собираются. Скорее воду пить перестанут, чем водку, потому что не видят в ней особой пагубы.

— Ну, кто не видит, а мы должны видеть.

Слова подыскивал мягкие, не обидные:

— Тебе, как я заметил, водочка уж поднесла подарочек — век будешь помнить.

— Ты о чем? — всполошился Вадим.

— О предмете любви твоей. Галя вряд ли пойдёт за тебя замуж. Пожалуй, не пойдёт.

— Я и сам боюсь,— согласился Вадим.— Она ведь и на катер со мной ради тебя пошла. Говорит, брат твой старший мне очень нравится. Дразнит меня. Я, конечно, понимаю её женские хитрости, а всё же слушать неприятно. Говорю ей со смехом: он тебе в отцы годится. А это уж, говорит серьёзно, мне виднее, куда он годится. Смотри у меня, брат. Невесту не отбивай. Вон Вера Михайловна: постарше, правда, тебя, но дамочка — пальчики облизешь. И проблемы одним махом решаются: квартира, машина, шмутки. Комплекс современных благ! — И тут же, с тревогой в голосе попросил: — Сходи к Галине. А?..

— А пить бросишь? Могу ей пообещать?

— Брошу! Напрочь, вот как ты буду — сухой.

— А если откажет?

— Тогда запью.

— Из армии выгонят.

— Тебя выгнали — не пропал.

— Не нравишься ты мне, Вадим, со своей философией. Столько мякины в голове.

— Постой, постой! Ты никак хоронить меня собрался. Не рано ли отпевать вздумал? Я всё-таки капитан армии, куча подчинённых. И никто ни в чём плохом меня не упрекает.

— Хватит, Вадим! Я тебе всё сказал, а долг братский выполняю: с Галиной поговорю. Завтра же постараюсь с ней встретиться.

На том они и расстались. На душе у каждого остался неприятный осадок.

На следующий день вечером после работы Грачёв позвонил Галине.

— Ах, это вы! — раздался приветливый голос.— Я ждала вашего звонка, и сама собралась звонить, да не знала, куда. Хотела поблагодарить вас за чудесную морскую прогулку.

— Мне, право, неловко за инцидент с братом.

— Что вы, Константин Павлович! Это я краснела перед вами. Чуть было не испортили людям прогулку. Простите, пожалуйста!

— Будем считать, что ничего не случилось. Хотел спросить: когда можно посмотреть ваши тренировки? У меня есть к вам поручение.

— Мы с папой живем за городом. Приезжайте к нам.

— Домой?.. Боюсь стеснить вас. Не лучше ли...

— Нет, приезжайте завтра. Я хочу видеть вас у себя дома. Познакомлю с папой.

Грачёв записал адрес и хотел положить трубку, но Галя вдруг предложила:

— А лучше я за вами заеду. Завтра у меня тренировка, я буду в городе на машине. Вы позволите?

И, не дожидаясь ответа, сказала:

— Назначайте место и час встречи.

Условились встретиться у проходной завода. Костя положил трубку и некоторое время сидел, пытаясь уразуметь смысл неожиданного приглашения. Одна мысль вертелась в голове: «Она любит Вадима, хочет сгладить возникшую у них размолвку».

Являлась, конечно, и другая догадка, но он гнал её, переключал мысли на цель и мотивы завтрашней встречи. Он старший брат Вадима, кому же больше позаботиться об устройстве его судьбы.

Рассеян был на работе; привычную операцию делал дольше обычного, задумывался. Саша говорил:

— Что с тобой? Ты будто сонный. Какая тебя нынче муха укусила?

Не стал ждать Александра, вышел из проходных один. Галя его окликнула. Она стояла у автомобиля иностранной марки. Раскрыла дверцу переднего салона, села за руль. С ходу, с некоторым шиком набрала скорость. Двигатель работал бесшумно, тянул легко — чувствовалась большая мощность.

В нескольких местах красовалась надпись «Форд».

— Машина американская, — с невольным почтением к мастерам и технике проговорил Грачёв.

— Мы с отцом жили в Америке двенадцать лет. Я там выросла.

— Тогда понятно. С автомобилями они сейчас уходят вперёд.

Проговорил эту фразу и покраснел. «Нашёл, о чём беседовать с девушкой». Галина ждала продолжения, но Константин молчал. Смотрел в сторону от дороги. И тогда Галина заметила:

— Русские любят наводить на себя критику. Мой папа тоже часто ругает Россию, но я патриотка и всё русское люблю, а если американец возьмется нас ругать, я ему говорю: вы не знаете русских и Россию и лучше больше говорите о себе. А в чужом глазу и соломинка кажется большой палкой.

Минуту — другую ехали молча, но потом Галя как бы с сожалением продолжала:

— Казалось бы, я и сама должна быть американкой — жила там и в школе училась, а вот духом их не пропиталась. Дух во мне русский остался. Видно, гены в нас такие.

— А как вы понимаете — русский дух? Я вот много лет живу на свете, а духа своего не знаю.

— Дух — в смысле: душа, характер, — то, что есть в человеке, но разглядишь не сразу. Американец? Он везде поспеет, во всякую щель пролезет, всё раздобудет. Русский же неповоротлив, он не возьмёт и того, что под ногами лежит.

— Так американцы о нас говорят?

— Я и сама так думаю. В отпуск приезжала, так люди у нас как в раю жили. Квартиру — получай, газ, вода, электричество — пожалуйста. И заболел если, и в институт пошёл — всё даром. Я там, в Америке, как стану подружкам рассказывать — не верят. Смеются надо мной.

Галя говорила с нажимом, и будто бы родная речь ей стоила усилий. Слышался чужой, заморский акцент, не все слова попадали точно на своё место.

— Я хочу свою Россию видеть, как невесту — во всей красе. А заморские гости пусть у нас учатся, ума занимают. У меня такое желание там развилось, в Америке. Это неправду говорят, что у человека, живущего за рубежом, патриотизм из сердца уходит. Наоборот получается. Там всякое плохое слово в адрес своей страны — как ножом по сердцу. Помню, мне до слёз хотелось, чтобы о России говорили только хорошее.

— Да, вы я вижу, патриот, но извините, я не хотел задеть вашей национальной гордости.

— Нет, вы, пожалуйста, продолжайте. Расскажите о своём заводе, что вы там делаете.

Позади остались мосты через Черную речку, Малую и Среднюю Неву, машина выкатила на Приморское шоссе, слева от которого тянулся городской парк.

Грачёв хотел бы сменить тему, но терялся, сидел молча, смотрел обочь дороги.

Выручила Галя:

— Вы старше Вадима, но мне кажется, не на много. А? Так я говорю?

— Спасибо, но к сожалению, лет мне много: тридцать пять.

— Тридцать пять! Цветущий возраст для мужчины. И вы хорошо сделали, что ушли из бокса. Ужасный вид спорта! Теперь для них придумали защитный шлем, но всё равно — я

не могу видеть, как они бьются. Ваш нос, ваши губы — всё осталось цело, это очень хорошо. Скажите Вадиму, чтобы он бросил свой противный бокс.

«Вспомнила о Вадиме»,— подумал он. И у него появилась надежда на счастливый исход его миссии. Вот только как бы половчее подступить к разговору.

В Комарово у двухэтажного деревянного дома резко затормозила. Въехали в кирпичный, тёплый гараж. Тут и ещё стояла машина — тоже иностранная. «Видимо, отца»,— подумал Грачёв, но ничем не выказал своего интереса. Очкины тоже имеют две машины, и гараж у них не хуже будет, и особняк, и всё прочее. Людей с подобным достатком и у нас теперь много.

В стене дома, рядом с дверью — сеточка переговорного устройства и кнопка. Нажав её, услышали женский голос: «Кто к нам идёт?» — «Нина Павловна, откройте, это я, Галина». Замок щёлкнул, дверь дрогнула. Загибавшийся углом коридор привел в просторный холл, из которого наверх вели две лестницы. Посредине холла на ярком ковре стояла ещё не старая худенькая женщина — Нина Павловна. Поклонилась Грачёву, но тотчас перевела взгляд на Галю, точно хотела этим сказать: появление в доме нового человека её мало интересует. С Галей говорила вежливо, но сухо, без заискивания подчиненного человека.

— Нина Павловна, голубушка, соорудите чего-нибудь. А вас...— обратилась к Грачёву,— приглашаю вот сюда. Я покажу вам папин кабинет.

Поднялись наверх по левой лестнице. Здесь была площадка и две двери — в левую сторону и правую. Показав на правую, Галя сказала:

— Две мои комнаты. Но вас туда не зову,— вечный беспорядок, другое дело папина сторона.

Раскрыла левую дверь. Тут был просторный кабинет с большим письменным столом посредине, с двумя кожаными диванами, креслами и сплошь уставленный шкафами с книгами. На полу лежал толстый ручной работы ковёр, всё было прибрано, сияло чистотой.

— Садитесь здесь,— показала Галя на кресло у окна.— Я хочу вас видеть.

Сама села на диван.

— В этом доме мы живём вдвоём с папой. Он сейчас на работе.

И минуту спустя:

— Пойдёмте на другую половину.

Правое крыло верхнего этажа примерно так же было устроено, как левое. Только на месте кабинета отца были две комнаты. Во второй стоял письменный стол и тоже много книг.

— Вам нравится эта комната? — спросила Галя.

— Да, здесь очень хорошо.

— А у вас есть своя квартира?

— Нет.

— Где же вы живёте?

— Мир не без добрых людей.

— Если хотите, живите здесь.

Грачёв посмотрел на Галю: серьёзно ли она говорит?

— Зачем вам квартирант? Ведь это обуза.

— Вы-то обуза! Было бы очень хорошо, если бы вы у нас жили. И папа был бы доволен.

Вспыхнула догадка: им нужен работник! Сторож, садовник, слесарь. Как нужен Очкину, Бурлову. Интересно, кто у неё отец? Дипломат, наверное. В Америке жили.

— Вы меня совсем не знаете. Может, я пьяница, дебошир.

— Я вас узнала и сразу поняла. Вы очень хороший человек, вас любят дети, а дети не ошибаются. Вы не пьёте, не курите — я и это заметила. У вас есть и много других достоинств, но только вы их скрываете. А, может, вы себя плохо знаете, а то бы стали зазнаваться.

Разговор казался Грачёву несерьёзным, тон шутовым.

— Да зачем же вам нужен жилец в доме? — спросил он, подстраиваясь под её детски-непосредственный тон.

— Ах, нужны, нужны... Так рассуждают немцы, да ещё американцы — во всём видеть выгоду, здравый смысл. А если мне бывает скучно в этом большом и пустом доме? Если мне грустно и хочется кому-то излить душу? Если мне ночью страшно? Наконец, я люблю общество мужчин. Я могу любить общество мужчин?

— Тогда вам нужно выйти замуж.

— Замуж? Ах, и вы тоже, как папа — замуж, замуж!.. Вы же знаете: мне много лет! Я научилась угадывать в людях слабости. Мне говорят: ты привередлива, а это значит: ты старая дева. Мне подойдёт жених во всём положительный. Мужчины все пьют и курят. Ни того, ни другого не могу выносить. Люблю сильных, уверенных в себе, независимых, а таких нет. Или мне кажется, что их нет.

Снизу донесся голос:

— Идите обедать!

За столом Галя продолжала:

— В Америке культ силы, ловкости и всезнайства. Если на экране женщина — то непременно стройная, длинноногая, а если мужчина — то бицепсы и зверское выражение лица. Потребуется время, чтобы у меня всё это вылетело из головы.

Грачёву чудилось: она его дразнит, она с ним играет. Он боялся, что говоря о сильных, она скажет: как вы, например. И тогда бы он смешался, из него бы выпрыгнула та самая робость, которую она не прощает мужчинам.

Всё время ждал, когда Галя заговорит о Вадиме — хотя бы упомянет его, что-нибудь спросит, но нет, девушка о нём забыла, словно бы он и не существовал.

Решил напомнить о брате, сказал:

— Вадим переводится в Ленинград, вот будет у вас помощник.

Галя при этих словах перестала есть, отодвинула тарелку, задумалась. Потом решительно подняла на Грачёва взгляд, сказала:

— Вам показалось, мы дружны с ним, или он, может быть, что сказал. Он дважды меня провожал, это и всё. На этом кончились наши отношения. Вадим как раз из той породы мужчин, которых я активно не приемлю, — больше того, я таких боюсь.

— Почему? — произвольно вырвалось у Грачёва. Он откинулся на спинку стула, с изумлением и некоторой обидой за брата смотрел на девушку.

Отвечать она не торопилась. Снова принялась за еду. И лишь минуту-другую спустя, заговорила:

— Мне ваш братец показался баловнем судьбы, из тех, которым всё валится с неба и они ни за что не борются. И даже будто бы бравируют лёгкими победами, беспечно идут навстречу судьбе. Такие мне не симпатичны.

Неожиданно просто Галина разрешила все вопросы и сомнения Грачёва; он вдруг почувствовал себя свободным и будто бы даже обрадовался развязке.

Больше о Вадиме не заговаривал. А потом и стал прощаться.

— Мне нужно идти. Спасибо за угощение.

Галя не стала его удерживать.

Константин вышел на улицу и скорым шагом направился к электричке.

Вадима не жалел. Он был уверен, что союз Вадима и Галины, если бы он и случился, не составил бы счастья им обоим.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Грачёв занимал большую комнату на втором этаже, будущий кабинет хозяина. Очкин закупил стильную мебель, на полках расставил книги, телевизор. Приобрёл стереопроектор, магнитофон, транзисторный приемник. Всё это со вкусом расположил на полках, а на письменном столе смонтировал пульт управления музыкой.

Очкин устраивал свою дачу по первому классу, собирался тут жить после выхода на пенсию. И поначалу, когда Костя ничем другим не занимался, а только строительством дачи, Очкин просил его жить в кабинете. Туда завезли большой уральский электрокамин — температуру для мебели и приборов поддерживали постоянную. Посылали в Донбасс машину — демонтировали погреб, холодильные установки, разбирали стены. Доски были дубовые, и всё это по тем же донбасским чертежам смонтировали в погребе на новой усадьбе Очкина.

Грачёв сказал:

— Я скоро квартиру получу.

Такого оборота Очкин не ожидал. Дачу без присмотра оставлять опасно.

— Может, поживёшь ещё.

— Месяц-другой буду наезжать, а там — не знаю.

У калитки Костю поджидал незнакомый мужчина. Шагнул из темноты, представился:

— Шурыгин Анатолий Зосимович, у меня к вам дело.

— Пожалуйста, проходите в дом.

Грачёв предложил чаю, гость не отказался. С делом своим подступаться не торопился. Заходил издалека.

— Я инженер-строитель. В Заполярье возводил береговые укрепления. Знаю толк в строительных материалах — в сметах, расценках. К примеру, привезли вам брусочки размером двенадцать на шестнадцать сантиметров; струганы брусочки, калиброваны — по ГОСТу проходят номером двадцать седьмым...

— Когда же вы их разглядели? — удивленно спросил Грачёв. — На усадьбе у нас будто не были.

— Я тут по соседству живу. Михаил Игнатьевич-то меня знает. Я у него в плановом отделе работал.

Грачёв подливал гостю чай. Станный он какой-то. Зачем говорит всё это?

Шурыгин вынул из кармана толстый блокнот, хотел что-то писать.

Костя заметил:

— У нас вам нечего записывать, материалы мы на складе покупаем.

Про себя подумал: а что, если Очкин... И не одни только брусочки.

— Да, да, верно, — поспешил успокоить гость. — У вас материальчик покупной, законный. Есть, правда, есть и у вас...

Шурыгин оглядел стены. Потом снова вынул блокнот, стал надевать очки. Заговорил тревожным, но дружеским тоном:

— Хотел доложить самому Очкину, но ладно уж... скажу и вам. Человек у меня знакомый в районной прокуратуре, так он мне позвонил: телега им пришла на Очкина. Дескать, с заводских объектов материальчик берёт, дачку бесплатно ладит.

— Ну, уж — дудки! — вскипел Константин. — Чего другое — может и быть, но чтобы Михаил руки в карман государству запустил! Извините.

Метнулся к книжной полке, достал кипу квитанций:

— Вот тут каждая доска на учёте, всё собственным рублём оплачено. Из его зарплаты, которая, кстати сказать, немалая. Жена доктор наук, тоже зарплата!

Вспомнил, как Очкин вручал ему квитанции со складов, где покупали шифер, доски, цемент. И говорил: «Береги их. Мало ли что».

Шурыгин поднял руки:

— Верю. Я верю, но поверят ли там...— он показал на потолок,— не знаю. Моё дело предупредить, чтоб вовремя меры принял. Человек он большой, врагов у него хватает.

— Ну, довольно! — стукнул кулаком по столу Грачёв.— И брусочки, и всё остальное — всё из магазина. У меня и на них квитанции хранятся. Тут этим клеветникам и фискалам не поживиться.

Константин, глядя на блокнотик в руках Шурыгина, вдруг решил, что он, Шурыгин, и есть тот самый клеветник и фискал. Кивнул на блокнотик, спросил:

— Ну, что у вас ещё там нарисовано?

— Здесь у меня адреса складов...— они, правда, не совсем торговые, но там можно приобрести похожие на эти брусочки.

— Да зачем нам приобретать брусочки?

— А чтоб сказать потом, если прокурор комиссию назначит, что, мол, там-то и там...

— Не надо нам задним числом брусочки приобретать. Не тот человек Очкин, чтоб до низости такой опуститься. А вы за него не беспокойтесь. Спасибо за желание помочь, но у нас все документы — налицо. На брусочки эти — тоже.

Грачёв потряс перед носом Шурыгина пачкой квитанций, но развязывать их не стал,— не мог он сейчас вспомнить, есть на брусочки квитанция или нет. И когда Шурыгин, извиняясь и прося осторожно намекнуть обо всём Очкину, ушёл, стал лихорадочно перелистывать документы. Квитанций на брусочки не нашёл.

Была суббота, выходной день; Костя мог бы и поспать, но он проснулся рано, в шестом часу; возбуждённые нервы не давали покоя. Лёжа на спине и прислушиваясь к звукам, издаваемым ещё не успевшим прикипеть к земле домом, он с отчётливой ясностью и какой-то болезненной тревогой воспроизводил в памяти вчерашнюю беседу со строителем. Константин знал: Очкина многие не любят, дела в объединении не ладятся,— представлял, каким подарком явится для его недоброхотов история с брусками.

Очкину не сочувствовал, не испытывал и злорадства, с тайной тревогой и даже со страхом думал о судьбе Ирины и Вареньки. Брусочки — мелочь, и если даже выписал по каким-то своим, тайным каналам — невелико преступление! Однако знал Грачёв, что значит иногда удачно пущенная сплетня, клевета. Ханжи и демагоги любой пустяк превратят в историю. Дойдёт до министра, а там...

Думая об этом щекотливом эпизоде, Константин понял, что не только дочь Варенька, но и Ирина всегда была ему близким, родным человеком,— первая любовь угасла в нём не совсем, он не был безразличен к судьбе бывшей жены и, как мужчина, как человек сильный и нравственно здоровый, тревожился за неё.

Поднявшись и наскоро одевшись, он прошёл в кабинет Очкина, включил электрический камин, сел в кресло у письменного стола. Бездумно наблюдал затейливую игру всполохов в каминном отражателе, потом отчётливо и ясно, почти физически ощутимо явилась мысль: «Вот если раздуют историю!..» Он знал: случись с Очкиным большая неприятность, он обозлится, в семье ещё больше возрастет напряжение. Они с Ириной и теперь-то не смотрят друг на друга, и даже на людях Очкин срывается на крик. Он вечно раздражён, смотрит вниз, сутулится, точно на плечах у него груз, который он не может сбросить. Не говорит с падчерицей, меняет шоферов своей служебной машины — он и в конторе объединения, и среди подчинённых ему директоров предприятий заслужил репутацию ворчуна и грубияна. Грачёв однажды с нарочитой суровостью сказал Очкину: «Что-й-то ты, Игнатич, со всеми собачишься?..» Тот вздрогнул как от удара: никто с ним в подобном тоне не говорил. Качнул головой, буркнул: «Тожё мне... моралист нашёлся!» Сделал круг-другой возле Грачёва, подошёл, сел рядом. Заговорил отрешённо, будто сам с собой: «Нервы расклеились. Работа изматывает».

Сказав это, Очкин достал из буфета нераспечатанную бутылку коньяка, коробку шоколадных конфет, стал пить. Грачёву не предлагал, знал: пить не станет. Тянул рюмку

за рюмкой,— один, как запойный пьяница, сосредоточенно и жадно, и до тех пор, пока не показалось дно бутылки.

«Да он же алкоголик! — думал Грачёв, не глядя на Очкина, очищая наждачной бумагой звено оконной рамы.— Меня считал алкашом, а сам и есть настоящий алкаш — тихий, ”культурный“, никем не видимый».

И ещё думал: «Нервы у него действительно расклеились, но только не от работы, а от вина — ведь пьёт-то он, пожалуй, лет тридцать. Сам мне говорил: ”С пятнадцати лет начал выпивать“. И что ж что помалу,— всё равно пьёт! Тут и железный надломится».

Понял Константин,— только сейчас пришла ему догадка,— что и с Ириной разлад произошёл у Очкина на почве пьянства. Не терпит она пьяного мужа, как в своё время не потерпела его, Грачёва.

Другой был Очкин в те времена, когда Ирина выходила за него замуж. Характер его и ум стали круто меняться в последние годы,— слабость стал его ум, и психика сдала, как старая тормозная колодка.

Вспомнил, как профессор Бурлов в лекции о пьянстве рисовал картину действия спиртного на мозг. Эритроциты движутся по сосудам, в том числе по мельчайшим, с определенной скоростью. Спирт, попадая в кровь, склеивает их...— и они уже бегут парами, как бы в обнимку, но есть сосуды, и их бесчисленное множество, в которых парами эритроциты не помещаются: набегая друг на друга, они сплетаются в группы, образуют заторы, и клетки, не снабженные кислородом, отмирают. При вскрытии умерших пьющих людей Бурлов видит: целые кладбища погибших клеток — сморщенный мозг.

Вот ведь оно как: сморщенные мозги. Всё, чем красив человек, и вдруг — разрушается. Не вдруг, конечно — постепенно, а всё-таки разрушается. Какое скрытое, гнусное коварство! Человек не знает научного механизма, но коварство рюмки заметил давно. Недаром водку «зелёным змием» зовут, а пьющему не верят, в дружбу и службу не зовут, и словом нарекут последним: ханыга, подонок, пропойца.

Слушая профессора, Грачёв, словно о камень, споткнулся и о другую догадку: и совесть у Очкина распалась от алкоголя. Он раньше на фронте был смел, честен, теперь же под воздействием спиртного в нём всё переменялось.

Вспомнил своих дружков по выпивкам — людей, лишённых каких-либо человеческих достоинств. Не всегда же они были такими. Были у них мечты, стремления; искали и они своё место в жизни, думали о счастье. Каждый из них пьёт давно, пьёт ежедневно, пьёт жадно. Очкин тоже пьёт, но пристойно. У него ещё сохранились сдерживающие тормоза: боязнь людей, начальников, страх за служебную карьеру. У этих же ханыг никаких тормозов нет, и страха они не имеют, и жадность у них приумножена нищетой,— от вечного страха, что завтра водки не будет, и послезавтра. Оттого и горят лихорадочным блеском глаза, дрожат эпилептически руки. Токсикация нервных клеток, бомбардировка высших мозговых центров — вот удел всякого пьющего,— «культурно» ли вроде Очкина, пропойцев ли, толкущихся по утрам у пивного ларька.

Грачёв рассуждал, как учёный; он был убеждён в верности своих заключений, и эти мысли о пагубе алкоголя — теперь уже почти собственные — вселяли новую и новую веру в себя, в то, что он-то уж теперь не прельстится рюмкой, не станет пить принципиально,— и это уж твёрдо. Он слишком много знает, чтобы теперь переступить порог трезвости.

Субботный день начинался хорошей погодой. Острые верхушки ельника и сосновые кроны купались в неярком свете утренней зари, нега и тепло плыли над землёй. Финский залив дышал сырой прохладой, бодрил тело и душу.

У раскрытого окна, в котором он отшкурил, отшлифовал все косяки, рамные переплёты, Константин завтракал, пил душистый с лимоном кофе.

Позвонил Роману. Тот, очевидно, ждал его звонка, закричал радостно, возбуждённо:

— Вы когда приедете? Я приготовил завтрак.

Отец Романа Карвилайнен неожиданно уехал с оркестром в заграничные гастроли, Ада Никифоровна стала больше пить. Женский организм быстрее поддаётся разрушению — она попала в психиатрическую больницу. Роман не растерялся, не плакал — пришедшим к нему женщинам с работы матери заявил: «У меня есть дядя Костя, буду жить с ним». Грачёв, узнав об этом заявлении Романа, положил руку на плечо парня: «Правильно ты сказал им, Роман. Квартиру до выздоровления мамы мы закроем, а ты перейдешь ко мне. Мы возьмём к себе и Юру Метёлкина. Он ведь тоже остался один. Полюби его, как брата».

Они все трое собирались то на даче Очкина, то на квартире у Романа или Юры.

— Позвони Юре, пусть подъезжает к тебе, а я буду у вас через полтора-два часа.

— Я сварил гречневую кашу.

— Хорошо, я куплю молока, и мы славно отобедаем.

На станцию к электричке шёл мимо пивного бара. «Крышей мира» называли выпивохи недавно возведённый по соседству с детским садом и вблизи трёх высотных строящихся зданий просторный зал, напоминавший контуром московский Манеж. Народу тут всегда было много: местные жители, строители, студенты, шофёры, завернувшие с магистральных шоссе перекусить. В былую пору, хотя и не часто, но наведывался сюда и Грачёв; наблюдал, как любители выпить часами топчутся, выглядывая знакомых, у которых можно сшибить на кружку пива, или так, по хмельному братству, разделить стаканчик.

Ещё вчера, проходя мимо пивной, Константин ускорял шаг, — боялся, как бы снова не затянул спиртной омут. Сегодня, наоборот, остановился, с болью в сердце смотрел на толпившихся пьяниц.

Стайка озабоченных, суетно толкающихся у дверей бара, боязливо и будто бы стыдливо озирающихся молодцов словно по команде устремила взгляды на Грачёва. Раньше тут были все знакомые, теперь он видел много новых лиц: нетвёрд и некрепок круг пьяной компании, — одних выметает милиция, других косят болезни, и лишь немногие чудом обретаются тут два-три года. Все они поведением, манерой держаться походят один на другого — ходят робко, людей сторонятся, лица отворачивают, но лишь только запахнет спиртным — тут стая преображается: глаза сверкают решимостью, в голосе слышен металл и в жестах агрессивная воля и натиск. Все устремляются к бутылке.

Но скрылась с горизонта бутылка, и стая сникает.

Необходимость прятать от людей пагубную страсть и в то же время проявлять сноровку, изобретательность добытчика породила своеобразную психологию, свой крайне бедный и в то же время выразительный язык.

— Раздавим пузырьёк! — придвинулись две-три небритые, помятые со вчерашней попойки физиономии.

Костя поднял руку, весело приветствовал:

— Здорово, ребята! Как живём-можем?

Радостно-приподнятый тон его приветствия воодушевления не вызвал; скорее, насторожил честную компанию: «Уж нет ли тут какого подвоха?» А кроме того, этакий бодрый, ироничный тон отдавал обидным высокомерием, дышал чистенькой, спокойной жизнью. Пьяница подаст руку любому преступнику, но трезвеньких, благополученьких в упор не видит. У алкоголиков складывается своя особенная корпорация — своеобразный взгляд на мир, своя психология. Однако Грачёв походил на свойского парня. А те, кто его знал, подумали: «Что с ним случилось?»

К надежде выпить за его счёт прибавилось любопытных. Круг сомкнулся, посыпались вопросы.

— Хо, да ты чистенький!

— Ты, верно, трудишься? Скажи, наконец, что с тобой произошло? Ты совсем потерялся из вида.

Кто-то тянулся к уху, хрипло, настойчиво повторял:

— Пузырек, а?.. На двоих.

Сзади других, переминаясь с ноги на ногу, толкался и не мог протиснуться Георгий Назаренко, бывший в хмельную пору близким дружком Константина. Раньше он работал на заводе кинофотоаппаратуры начальником смены. Ему было сорок пять лет, и десять из них он пробавлялся случайными заработками, предавался пьянству, всё больше погружаясь в царство хмельного забытья и редких мучительных просветлений.

— Георгий, привет! — Грачёв подал ему руку, подтянул к себе.

— В цех не вернулся? Надо, брат, в цех. Там дело, люди — не дадут пропасть.

Георгий кивал головой, и на ухо, таясь от других, не то спрашивал, не то просил:

— Сучёчик бы, а? Слышь, Костенька!

Сучёчик — слово непонятное, видно, из новых, из тех, что появились за время отсутствия Грачёва, но Косте и не надо понимать слова; по мольбе, дрожащей в голосе, по трагически-скорбным глазам — по всему виду, жалкому, просящему он мог заключить: отказать Георгию нельзя. Слишком это будет жестоко.

Да, Георгий хотел выпить. Выпить вдвоём с Грачёвым. Ни с кем не делить драгоценной влаги, никому не уступить капли.

Пьяница может быть широким и щедрым, он под хмельную руку отдаст вам целый мир, но за крошечную рюмку водки готов зарезать друга.

Назаренку грубо оттолкнул Вася, бывший мясник, детина с красным лицом, толстой могучей шеей. Вцепился пятернёй в плечо Грачёва, грубо, с присвистом бубнил:

— Чимпион! Расколись на бутылку! Ну, покажи характер!

При слове «чимпион» кровь ударила в виски Грачёва. Вспомнил, как пьяный бил себя в грудь, кричал: «Я чемпион мира! Чемпион! — слышите вы, пьяная шелупонь!»

Только в состоянии опьянения мог он бахвалиться своим прошлым. «Нет, нет! — твердил он теперь. — Мне незачем тут появляться. Совестно и противно. Тут всё тебя унижает, топчет в грязь, равняет с ними».

Братия напирала. Алкаши имеют чутьё старых волков, они за версту чуют поживу, каким-то внутренним зрением пронизывают насквозь карманы и видят там ветхий истершийся рублишко, и уж тем более десятку-другую.

— Ладно, ребята. Дам вам на пиво.

Достал кошелёк, стал отсчитывать деньги: по рублю на человека.

— Вам трояк — на троих. А вам вот на всех, на пятерых.

Повернулся к Назаренко:

— И мы с тобой, Георгий, выпьем пива.

Пятерых с пятеркой как ветром сдуло. Георгий тоже метнулся за пивом, а трое, получив трешку, ещё теснее обступили Костю, молча, заискивающе смотрели в глаза.

— Ну, чего вам?

— Пиво — сам знаешь: вода! Кинь ещё трояк. Бутыль купим и колбаски. Третий день маковой росинки во рту не держали.

Костя дал им десятку.

— Это вам пообедать.

Впрочем, тут же подумал: на всё купят водки. Так уж они устроены: ничего в свете не знают лучше зелёной, сорокаградусной. В ней всё утешение: и душе услада и желудку сытость.

Оставшись один, зашёл в бар. Это было внушительное сооружение. Его построили на площадке, где по свидетельству местных жителей собирались разбить для детей небольшой зелёный сквер. И с жестокой беспощадной иронией пустили по всему корпусу, словно ремень, зелёную полосу. Тут можно увидеть во всякое время, в особенности же вечером, одну и ту же картину: в полумраке, у бесконечно тянущихся в разные концы стоек, толпятся мужчины, — как правило, средних лет, — почти все строители. Их много; шипение автоматов, резкие окрики разливайщиков, неясный гул пьяной болтовни стоит

под низким, чуть освещённым потолком. И нет тут окон, и тусклый свет электрических лампочек слабо золотит хмурые лица. Люди пьют. Они пьют в рабочее время, в короткие часы перерывов на обед, в дни выходных и во время отпуска. Рядом строятся важнейшие объекты: вычислительный центр, телефонная станция, фабрика сверхчистых полупроводников. Корпуса этажей возводят люди, приехавшие из деревень, бросившие там землю, скот, дома. Строят и пьют; вернее будет сказать: пьют и строят.

Человек выходит отсюда, как моряк с корабля, вернувшегося из дальнего плавания: он ещё не отвык от морской качки, зыбкой кажется ему земля; незримые волны колеблют, шибают беднягу из стороны в сторону. Он подвигается медленно, раскинув руки — вот ещё один удар волны, ещё... Человек хватается за стенку. Теперь он похож на младенца, делающего первые шаги. Как тут не вспомнить поэта:

Сочится самогон во взгляде,
Ну что смешнее может быть,
Когда сорокалетний дядя
По стенке учится ходить.

В углу за столиком освободилось место, и Грачёв занял его, намереваясь здесь, в закутке, посидеть несколько минут, посмотреть на людей, толкущихся у стоек, столов и ничего, кроме бутылки и пивной кружки, не желающих видеть. И в тот же момент к нему сбоку, с кружкой пива, с кусочками колбасы на бумажной тарелочке пристроился Георгий. Он жался к Косте, горячо дышал в ухо, молил:

— Костя! Бутылочку! К пиву да ещё косушку. Соорудим ёршик — вот славно будет!

Грачёв мягко отстранил Георгия, заглянул в глаза бывшего приятеля. Ещё недавно Георгий был молод, здоров и красив, у него счастливо складывалась жизнь, была хорошая работа, квартира, жена, дочь и сын. Грачёв и теперь помнит его пьяные откровения, в подробностях знает жизнь — и даже детство, юность, все мечты и взлеты — и так же зримо, во всех деталях, помнит все перипетии его алкогольной драмы. Ещё вначале, когда Грачёв только что приступил к строительству дачи Очкина и явился в этот бар впервые, видел, как молодая женщина, хорошо одетая и красивая, и с ней мальчик тянули за рукав Георгия, просили:

— Пойдем домой! Леночка заболела, зовёт тебя...

Мальчик плакал:

— Папк, прошу тебя. Мне стыдно от ребят в школе.

— Ах, стыдно! — заорал Георгий. — Пошёл вон, щенок!

Замахнулся, хотел ударить. Грачёв удержал. Женщина с мальчиком ушли, а Георгий сел на камень у бара, обхватил голову руками, застонал. Он был слегка пьян, горько плакал. Грачёву, которого никогда не видел раньше, говорил:

— Я — свинья, последняя тварь на свете, — червь навозный, тля садовая — родных людей обижаю, — всё сознаю, а поделать с собой ничего не могу.

И обращался к Грачёву:

— Эх, друг — как тебя?.. Давай выпьем. Добудь полстакана, а? Ну, будь человеком, уважь!

Они напились. Забыли все горести и обиды, мир казался светлым и весёлым, и каждый из них чувствовал себя человеком, — и даже как будто бы все были виноваты перед ними, а они, один перед другим, били себя в грудь и наперебой пытались доказать своё право на уважение.

Грачёв тоже бил себя в грудь, почти кричал:

— Ты мне скажи: признаёшь меня чемпионом или нет? Я — чемпион мира! Слышишь — говорю честно, без трёпа.

— Ладно... Я тоже начальником смены был. Ты можешь это вообразить? Начальник смены! Иду по цеху, — направо смотрю, налево — все кивают и говорят: «Здравствуйте,

Георгий Петрович!» Во втором пролёте девочка была — хороша, чертовка! Очи чёрные, как у цыганки — тоже смотрит, улыбается. Нравился я ей.

— А я,— перебивал Грачёв,— дрался, как лев. Представляешь, удар! Золотая перчатка!

— Да, конечно, удар — тоже хорошо. Но Тонечка...

Георгий так и не понял значения слов «чемпион мира» — слишком неправдоподобны они были, зато свою жизнь он успел рассказать Косте во всей полноте и в подробностях. В Грачёве ему нравилась широта характера; Костя не считал денег и никогда не вспоминал своих трат. Правда, он что-то буровил про чемпиона, уж слишком завирался, но это только когда много выпьет, во всякое другое время — парень хоть куда. Наверное, о таких вот говорят: «Пошёл бы с ним в разведку». Другие не нравились — мелочны и злобны. Нищета, распалённая вечной жаждой спиртного, редкого не превращала в скрягу. А ещё Костя умел слушать. Это уж совсем редкое качество для здешних завсегдатаев. Человек тут поглощён одной мыслью: выпить! Денег у него нет, друзей, способных угостить, тоже. На что надеется — непонятно. Утром, отрывая тяжёлую голову от подушки, он хотел бы спать ещё и ещё, и если не спать, то лежать с закрытыми глазами. Никого не видеть, ничего не слышать — провалиться в небытие, спать, спать. И он бы лежал до тех пор, пока его не подняли силой. Но есть сила, которая выше всех других сил,— жажда выпить. Она-то и отрывает от подушки тяжёлую голову,— и он идёт. Голодный, плохо одетый,— идёт по грязи, по снегу, под дождём, в стужу и мороз — идёт торопливо, почти бежит.

Пьяница не думает о других. Душа гражданина в нём умирает, бойцовский дух улетучивается; он в социальном плане пуст и ничтожен. По улицам утреннего города он бредёт вслед за людьми, спешащими на службу, бредёт в полузабытье. Не думает, не знает, как раздобудет денег, но верит: живительная влага оросит сгорающее от нестерпимого зноя нутро.

Пьяница прячет глаза и не любит слушать — ни до, ни после возлияний. До выпивки он слишком занят желанием выпить, а после — становится развязным и хочет знать: любите ли вы его, и если любите — за что, за какие такие доблестные свойства, которые, конечно же, у него есть. А если их не признают или признают не сразу, он трясет вас за грудки и требует признаний.

— Нет, ты мне скажи,— говорит обыкновенно выпивший,— за что ты меня уважаешь, за какие такие особенные мои достоинства?

— Бутылочку! Тут не продают, но я знаю, где достать. Соорудим ёршик.

Тонкие синеватые губы Георгия плаксиво дрожали, он молил, чуть не плакал.

Костя достал пятёрку, протянул Георгию. Тот схватил её и тотчас пропал, а когда вернулся, ловко раскупорил бутылку, стал дрожащими руками наливать в пиво.

— Пива-то одна кружка. Ещё бы кружку, а?..

— Ничего, ты пей,— махнул Грачёв. И Георгий, смешав водку с пивом, жадно прильнул к кружке. Он пил долго, рывками, как-то нехорошо, нервически вздрагивая. И когда влаги осталось на доньшке, с трудом оторвался, медленно, словно бы нехотя, поднёс Грачёву. Костя взял кружку, повертел её в руках. Глядя на мутно-бурую жидкость на дне кружки, подумал: «Мерзость, а поди как тянет человека!»

Вернул кружку Георгию. Тот быстро опрокинул её, допил.

И в ту же минуту лицо его оживилось, глаза сверкнули огнём ещё молодой силы. И речь вдруг обрела твёрдость, и разум прояснился.

— Эт, хорошо, что ты, Костя, вновь объявился. А я уж думал: пропал Грач — в колонию принудительного лечения залетел.

— Оно бы и неплохо — полечиться. Ты, кстати, не думал об этом?

— Я? Да чего ради! Там алкаши, а я что ж... Ну, выпил малость. Ты тоже вот. Ну, нет, Костя, ты меня в пьяную артель не вали. Я скоро в цех вернусь на прежнюю должность. Там, говорят, пьянство прижимают, а и хорошо! Мне строгости не помеха. Я и сам в цеху дисциплину — во как держу!

Георгий наклонился к бутылке, сощурился, щёлкнул по ней ногтем указательного пальца. Хмыкнул.

— Да нет...— не одолеть! Никто её, родимую, не осилит.

Тут он клюнул носом, схватился за бутылку. Потом обнял обеими руками столик, раскачивал головой и временами приседал, будто кто-то ударил ему палкой по ногам ниже коленок. Костя потянулся к бутылке, хотел взять у Георгия, но тот вцепился в неё, не отдавал. И мутными ошалелыми глазами смотрел на Константина, бубнил:

— Ты чего пришёл, какого чёрта?

В эту минуту в бар вошли те пятеро, которым Костя дал на водку. Один из них, прижимая бутылку, точно ребёнка, устремился к столику. Увидев Костю, они все сразу повернули от него, видно, не хотели делиться. Плотным кольцом обступили соседний столик. И тут случилось невероятное: у того, кто нёс бутылку, она скользнула из рук — и на пол. Разбилась вдребезги. Компания охнула, онемела: четыре молодца, разгорячённые близостью вождя момента, уставились на виновника трагедии, выпучили глаза, сжимали кулаки, готовые растерзать на части бедолагу. Он отступал; его панический взгляд остановился на Грачёве, и он, протянув руки, взмолился:

— Они убьют меня. Дай пятёрку.

Костя с минуту стоял в нерешительности, затем дал им пятёрку и скорым шагом направился к двери. На улице, заслышав шум приближающейся электрички, пошёл ещё быстрее. У него не было желания оглянуться назад,— даже бывший приятель Георгий не интересовал его больше. Он знал, был убеждён: всех этих людей крепко держал в своих объятиях зелёный змий и вырвать кого-либо из таких объятий можно было только силой. Много слышал он о чудодейственном методе питерского физиолога Геннадия Шичко, о работе его последователей Жданова, Тарханова, Михайлова. Очень бы хотел, чтобы слухи о них не обернулись красивой легендой. Одно средство казалось ему надёжным,— он сам уже употребил его,— это желание и воля.

Никогда не знавший и не видевший войны, он думал сейчас о том, что и это война, и что ведёт её с нами страшный дракон, похожий на того многоглавого змия, который в русских сказках извечно олицетворяет силы зла.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Удивительно, как нехорошо начался этот день для Очкина; утром плановый отдел представил отчёт за второй квартал: план выполнен на 90 процентов. Двинул от себя бумагу, в сердцах проговорил:

— Заводы садятся на мель. Заказов нет, зарплату платить нечем.

Это было время, когда «демократы» разваливали Советский Союз; республики, одна за другой, отделялись, жизнь заводов замирала. Рушились взаимные поставки, мелели ручейки заказов.

Подписал отчёт. Настроение было испорчено. Принимал людей, отвечал по телефону, но всё вяло, без желания и с каким-то болезненным, непроходящим надрывом, будто на спину ему взвалили непосильную ношу и он взбирался с ней на крутую гору.

Надо было акционировать заводы, кому-то продавать. Но как, почему и для чего это продавать такие отлаженные производства, снабжавшие всю страну и Европу медицинским оборудованием, он не знал.

В третьем часу приехал домой обедать. Почти одновременно с ним вошли в квартиру Ирина и Варенька, весело болтая и смеясь.

Очкин сидел за столом и ждал обеда. Ирина, заглянув в столовую, сообщила:

— Обед нынче нет, но мы сейчас что-нибудь соорудим.

Очкин вскипел и сжал кулаки. Их веселое настроение и эта беспечность в голосе: «...обеда нынче нет» подлили масла в огонь, и он готов был взорваться.

— Мне обед нужен, а не это «что-нибудь»!

Тыльной стороной ладони швырнул на пол тарелки с ветчиной и хлебом.

Варя прижалась к матери, словно защищая её от удара. Очкин кричал:

— Шляетесь где-то, а я по вашей милости пробавляйся сухим пайком!

Ирина, мягко высвобождаясь из объятий дочери, спокойно и с достоинством проговорила:

— Я не шлялась, ходила по делам. А твоему самодурству решила положить конец: мы с Варей будем жить вдвоём. Ты свободен и устраивай свою жизнь по-иному.

Очкин набыл голову. Знал: Ирина произнесла приговор. И отмене или обжалованию он не подлежит. Проговорил тихо, со злобой обделённого, оскорблённого человека:

— Убирайтесь ко всем чертям! Давно бы так...

— Убраться нам некуда, мы будем разменивать квартиру.

— Квартира моя. Мне её давали, мне!

— Да, тебе. Но и нам. Мы тут прописаны.

— Хорошо. Забирайте её себе. А я буду жить на даче.

С этими словами Очкин вышел.

Обедал в ресторане. Заказал бутылку коньяка и почти всю её выпил. После первых двух-трех рюмок у него поднялось настроение; почувствовал силу и прилив энергии, и сердце, которое с самого утра слегка ныло, отпустило — дышалось легче.

Семейная драма не казалась такой уж страшной. «Пока проживу на даче. Нервы успокою».

Обильная еда гасила действие алкоголя, Очкин ел и пил много, и тогда лишь остановился, когда коньяка в бутылке оставалось на доньшке.

Мелькали и такие мысли: «Грачёв, этот шалопай, трезвенником стал. Смех!»

К Грачёву не было той глухой неизбежной неприязни, которую питал ко многим и глушил в себе из соображений такта и эгоизма. К тому же Грачёв был нужен — строил дачу.

«И теперь... пусть живёт. Отведу комнату в нижнем этаже, — пусть обитает».

Вспомнил, что не закончено оформление документов на дачу. Откинувшись на сидении, думал: «Документы оформлю, завезу материалы — кирпич, доски, цемент».

«Волга» несла его по широкому Приморскому шоссе. Со стороны залива дул прохладный ветерок, но не освежал, не бодрил, Очкину хотелось спать, и он, откинув назад голову, задремал. Во сне чувствовал боль в груди, сильный, настойчивый звон в ушах и тяжесть в области желудка.

У калитки вышел из машины, сказал шофёру:

— Завтра не приезжайте. Я плохо себя чувствую и на работу не пойду.

— Завтра суббота, Михаил Игнатьевич. Вам и не надо идти на работу.

В этот момент вывернулся из-за угла забора Георгий Назаренко.

— Костя, стой!

Очкин остановился, подождал. Георгий был навеселе, угодливо изогнулся, по-военному приставил ладонь к виску.

— Пардон, обознался.

— Проходите, — открыл калитку Очкин. — Костя сейчас придёт.

Казалось, Очкин обрадовался случаю раскупорить бутылочку и продолжить винопитие. Он провел гостя на кухню, пригласил к столу. Из шкафа выставил коньяк, рюмки...

А через час явился Грачёв.

Все двери были раскрыты; Костя миновал коридор и перед чуть приоткрытой дверью кухни остановился. За столом мирно сидели Очкин и Георгий. Говорили о нём, Грачёве:

— Костя — хор-роший пар-рень. У нас его «Чемпионом» зовут. «Чемпион!» — кричит братва, и Костя идёт. Вынимает деньги, — на, пей, ребята. Чемпион! — одно слово. Не знаю, откуда взялось, а так зовут. Я не бил рекордов, но я — начальник цеха! Слышишь? Седой, ты меня слышишь? Я был начальником цеха. Без трёпа. Правду говорю. Ну, хочешь — документ достану.

Очкин выставил руку, словно защищаясь от удара. Глухо бубнил:

— Не надо документа — чёрта мне в нём, я — директор, и то молчу, а он — начальник цеха. Все вы чемпионы да начальники — пьянь шелудивая.

И ещё тише:

— Какого чёрта сижу с ним... тары-бары...— руками углы стола обхватил. И вдруг как гаркнет:

— К чёрту пошёл! Слышишь, алкаш вяленный! А ну...— расселся тут. Начальник!

Схватил его за ворот пиджака, поволок в коридор, потом за калитку и толкнул на обочину дороги. Из раскрытого окна кухни Костя наблюдал, как Георгий ворочался с минуту, затем поднялся и, не оглядываясь, пошёл неверным, заплетающимся шагом.

Очкин долго и старательно закрывал на внутренний замок калитку. А вернувшись, не удивился Косте, положил ему руки на плечи, сказал:

— У меня несчастье, друг. Ба-альшее горе! Ушла Ирина. Совсем ушла. Ты ведь знаешь, как она уходит.

Грачёв не придумал значения пьяной болтовне, отвёл Очкина в кабинет. И там уложил в постель.

Очкин хотя и был изрядно пьян, но сон к нему не приходил. У него очень болело сердце. Никогда до сих пор у Очкина так сильно не болело сердце.

Утром следующего дня он проснулся от громкого разговора, доносившегося с первого этажа. Незнакомый голос настойчиво требовал хозяина.

— Вы только покажите мне дверь его кабинета!

— Михаил Игнатьевич отдыхает, придите в другой раз.

Это был голос Грачёва; Очкин узнал его, и странное дело, дотоле неприятный, приводивший его в раздражение голос боксёра на этот раз не казался Очкину ни неприятным, ни даже чужим. Грачёв оберегал покой хозяина, и, может быть, оттого, а может быть, от сознания общей судьбы, но что-то родное, близкое слышалось в голосе Грачёва.

— Костя! Кто там пришёл? Пусть войдёт.

Впервые Грачёва назвал по имени; раньше никак не называл.

На пороге показался Шурыгин.

— Здравия желаю, Михаил Игнатьевич!

— А-а, Шурыгин,— буркнул Очкин, выказывая явное неудовольствие. «Хлопотать за кого-нибудь пришёл»,— в сердцах подумал Очкин и заранее решил отказать.

— Вы как руководитель большого государственного масштаба,— начал издали Шурыгин,— не можете не знать о новых веяниях по борьбе с коррупцией. Нынче дай только повод — из мухи слона сделают.

— Да, знаю,— прервал Очкин, выказывая нетерпение.— Но о чём это вы?

— Какой-то мерзавец кляузу на вас написал.

Эти последние слова точно огнём опалили Очкина; притихшая за ночь боль острой режущей ломотой разлилась по всей левой стороне груди и в районе живота.

— О чём вы? Говорите конкретнее.

— Брусочки, будь они неладны. На обычном-то складе их не купишь.

— Куда направлена кляуза?

— Районному прокурору. Я хотел вам предложить уладить дельце.

— Не надо ничего улаживать. Спасибо, Шурыгин. Это не страшно. Тут нет никакого нарушения. Брусочки из брака. Оплачены. А теперь — идите. Мне нездоровится.

Одутловатое, сонно-вялое лицо Очкина вдруг покрылось бледностью, в глазах отразилось предчувствие неотвратимой грозной беды. Он с трудом поднялся с дивана, перешёл к письменному столу, сел в кресло. Глуховато, сникшим от волнения голосом проговорил:

— Идите. Пожалуйста.

Шурыгин вышел, а Очкин сидел ни жив ни мертв; он не смотрел вслед роковому посетителю, но шаги бывшего строителя, спускавшегося по лестнице, дополнительной болью отдавались в сердце. Лихорадочно работал мозг. Одна картина мрачнее другой

рисовались в воображении. Четыре кубометра калиброванных брусков. Мелочь, конечно,— к тому же оплачены, и квитанции есть, но бруски взяты со строительства детского сада, а там сейчас затор, все планы срываются. Попади он на зуб демагогам, да журналисты прознают...

Воображение нагнетало страхи, ему представлялись комиссии, фельетоны. Лица знакомых и незнакомых людей. На каждом — недоумение, немой вопрос: «Очкин? Ты ли это? Да как же?..»

Потеря доброго имени были для него страшнее смерти.

Начисто вылетели из головы все другие неприятности, даже ссора с Ириной, разрыв с ней казались пустяком в сравнении с неминуемо надвигавшейся катастрофой. И даже боль сердца будто бы отступила.

— Костя! — закричал Очкин.— Поднимись сюда. Пожалуйста, скорее!

Схватил лист бумаги, стал писать:

«В комитет профсоюза завода медицинских аппаратов.

Прошу принять построенную мною дачу на баланс завода — пусть это будет детский сад или ясли для детей рабочих.

При строительстве дачи я использовал некоторое количество фондовых материалов со строек объединения, и это обстоятельство побудило меня принять такое решение.

Подробно обо всём сообщу в надлежащие инстанции.

Очкин».

Запечатал конверт, протянул вошедшему Грачёву. Сказал:

— Прошу тебя, окажи услугу, доставь сегодня же в профком завода. Сегодня же, сейчас.

— Но нынче суббота, к тому же вечер. Там никого нет.

— В конторе завода есть дежурный. Пожалуйста, отвези ему.

Позвонил в гараж, вызвал машину.

— Сейчас подойдет автомобиль. Будь другом, свези.

И тон, и слова были новыми, не похожими на характер их прежних отношений. Наконец, и вид Очкина — болезненный, взъерошенный.

Грачёв взял письмо.

— Мне нетрудно, но что с вами? На вас лица нет.

— Ничего, пройдёт. Вот полежу и станет легче.

Лёг на диван, накрылся пледом. Константин продолжал стоять у изголовья, с недоумением глядел на всегда здорового и такого самоуверенного Очкина.

Тот продолжал:

— Я, брат, малость перепил нынче. Ты завязал, а я продолжаю. И вот видишь — переложил, выпал из колеи.

Грачёв направился к выходу, а Очкин со страхом смотрел ему вслед и думал: «Он поедет в город, а мне тут сделается плохо».

У калитки раздался шум автомобиля.

Грачёв уехал.

Когда откатил последний слабый шорох автомобильных шин, повисла тяжёлая пугающая тишина. Душу рвала досада, в голове теснились тревожные, наводящие панику мысли. Одна из них настойчиво и властно билась в мозг: «Чёрт дёрнул меня заварить такую кашу! Наверное, пьян был, навеселе, вот и сказал прорабу: пришли кубометра четыре. Пьяному-то море по колено. Хорошо, что деньги уплатил».

Очкин презирал пьяниц. Все беды на производстве, на стройках случались от них, молчаливых, прячущих глаза молодцов, схоронивших под досками бутылку, упившихся ещё вчера, а сегодня ошалело шатающихся с больной головой по цеху или стройке, побуждающих новичков «обмыть» первую получку, премию,— просто «составить компанию» — от них, алчных, жадных, озабоченных одной единственной гнусной

мыслью «выпить». Этих он ненавидел и не питал к ним никакой жалости. Сорваны сроки сдачи объекта, случилась авария, кого-то покалечило — ищи пьяницу. Наконец, грубо сработано, наспех, кое-как — и тут «поработал» суетливый, пустой человечешко, чья жизнь сосредоточилась на бутылке. Но он не осуждал пьющих умеренно. Пожалуй, только теперь ему пришла в голову мысль, что и он, «умеющий пить культурно, и даже красиво», под воздействием вина совершил самую большую в своей жизни глупость. «Будь я трезвым, не пошёл бы на аферу», — повторял он мысленно и чувствовал, как боль в груди и в области живота сжимает его точно калёным обручем.

Вспоминал свою жизнь — год за годом; всё мешалось в одну сплошную череду, туманную и безликую. С тех пор, как закончил институт, стремился себя возвысить — стать начальником цеха, потом главным инженером завода, а там и выше. И ещё была забота: квартира, книги, мебель — как раз то, что пошло в одночасье прахом; разошелся с женой, и всё ухнуло, как не бывало! Не так ли и с должностью? Сегодня есть — завтра всё полетело в тартарары.

Почувствовал резкую боль в правом боку. Успел позвонить, вызвал скорую помощь. Когда она приехала, он лежал на диване без сознания. На полу записка: «Отвезите в клинику Бурлова».

Профессор был на даче. Дежурный хирург позвонил ему рано утром, рассказал об Очкине. В сознание тот не приходил, едва подавал признаки жизни. Профессор приехал в клинику и после осмотра больного, посоветовавшись с терапевтом и ассистентами-хирургами, приказал готовить его к операции.

Больше пяти часов стоял он у операционного стола. Как и предполагал, в результате стрессовых ситуаций или каких-то других причин у Очкина произошли сильнейшие спазмы сосудов, что и привело к снижению, а в иных местах, прекращению кровоснабжения жизненно важных органов. В районе печени случился разрыв ткани, кровь разлилась на большом пространстве.

Операция осложнялась чрезмерной полнотой больного; вес Очкина превышал норму на двадцать килограммов. Продираться скальпелем к пострадавшим органам, чистить места, заполненные загустевшей кровью, и затем накладывать швы приходилось под слоем жира. Сколько тут мучений для хирурга! В подобных случаях Бурлов вспоминал свои операции во Вьетнаме. С группой русских врачей его послали туда в годы вьетнамо-американской войны. Много трудных задач ставит перед врачом госпитальная хирургия, но там не было полных пациентов. Чуть разрежешь кожу — и все внутренние органы у тебя на ладони. Пальцы рук работают свободно, швы накладывать легко. Оперировал он быстро и без осложнений. Может, оттого Николай Степанович так не любил толстяков. И если к нему с жалобами на сердце обращался полный, с трудом таскающий своё тело человек, он говорил:

— Сколько лет вы такой вот.. полный? Ах, семнадцать! Так чего же вы хотите?.. Ваша полнота — благоприятный фон для развития болезней сосудов, сердца, печени и многого другого. Ну, посудите сами: почти двадцать лет вы по своей охоте таскаете на плечах два ведра воды. И в театр идёте, и спать ложитесь, — всё с этим грузом. Да тут и железный организм надломится.

Полноту он не считал невинным недостатком и никаких оправданий тучности не принимал. В кругу близких профессор говорил:

— К толстякам мы относимся с добродушной улыбкой, а ведь так ли уж невинна эта страстишка лишнего поесть! Для нас же, хирургов, толстый человек — сущее наказание! Во время операции намаешься, а после операции не знаешь, как его выводить: то у него пролежни, то сердце отказывает, а то присоединится воспаление легких. Весь персонал нянчится с ним, как с ребёнком. Мы одного толстяка после операции полтора месяца через каждый час с боку на бок ворочали, а в нём без малого восемь пудов веса было.

Трудно и долго выздоравливал Михаил Игнатьевич. В первые дни после операции он словно бы обрадовался своему второму рождению, ждал врачей, сестёр, говорил с ними, а когда его навещали сослуживцы, спрашивал о делах на заводах, со вниманием слушал их рассказы. На третий день к нему пришли Ирина с Варей, принесли фрукты, соки — он и с ними говорил так, будто ничего между ними не произошло. Просил принести книги, собирался читать. Но на четвёртый или на пятый день заметно сник, приуныл, ни к кому не проявлял интереса. Организм не принимал воды и пищи. Очкин два дня пролежал на спине, а затем повернулся на бок и лежал с закрытыми глазами. Врачи давали ему лекарства, часто меняли назначения, но Очкину не становилось лучше. И посетители к нему приходили реже. В конторе распространились слухи о махинациях со строительством дачи, о болезни, связанной с этой историей — многие потеряли к нему интерес. Ещё раз приходила Ирина, да и то лишь из чувства прежнего долга и женского сострадания. Зато Очкина стал часто навещать Грачёв. Узнав, что много дней Очкин лежит лицом к стене, не ест, не пьёт и не проявляет ни к кому интереса, он стал поворачивать его с боку на бок, растирать, чтобы не появились пролежни.

Говорил Очкину:

— Да ты что, Михаил,— помирать собрался? Не рановато ли?

Очкин смотрел отрешённо, и взгляд его, как у глубоких немощных стариков, был устремлён в себя, лишён жизни.

Костя взял руку Очкина — пальцы были холодными, открыл одеяло, коснулся ноги — холодная. Принялся делать массаж, усиленно растирал кожу. Сестра принесла спирт, вату. Приемами, какими спортивные врачи и тренеры растирают боксёров, Грачёв массировал Очкина.

На беду Бурлов надолго уехал за границу.

Константин вспомнил, что в трудных ситуациях Николай Степанович звонил профессору Воронцову, приглашал на консультации.

Попросил врача позвонить Воронцову. Профессор пообещал тут же приехать. Долго он сидел у больного, слушал лечащего врача, изучал историю болезни.

— Нужно наладить капельницу, питать больного через вены. И сейчас же дать ему двойную дозу нового венгерского препарата.

Написал название: трассилол.

— У нас его нет,— сказал врач.

— Пошлите со мной сестру, я дам на курс лечения.

Повернулся к Грачёву:

— А вы, молодой человек, правильно делаете, производя массаж и растирания. И вообще хорошо, что ко мне обратились.

С того дня Очкин пошёл на поправку. В глазах его засветилась жизнь. Показал на яблочный сок, сказал Грачёву:

— Налей из той вон бутылки. Яблочный.

И выпил почти целый стакан. Затем съел несколько ложек мёда, попросил почистить апельсин.

Он лежал в клинике долго, около трёх месяцев. Как только ему сделалось лучше, вспомнил всё происшедшее с ним недавно и, странное дело, не испытал страха, мук и терзаний, чуть не лишивших его жизни. Он чувствовал, что будет жить, и это сознание наполнило его душу светом, радостью,— он если и опасался чего, так это только того, чтобы не возвратилась его болезнь и не повергла бы его снова в состояние прострации, небытия.

В клинике Очкин много беседовал с врачами, профессором Бурловым,— понял, что эпизод с брусками явился лишь последней каплей, переполнившей чашу насилия над его организмом; больше всего его подрывал алкоголь, постоянные коньячные возлияния,— в

особенности же, лошадиные дозы, принятые им с целью заглушить семейную драму. Бурлов ему говорил: «Беда одна не ходит; одна неприятность накладывается на другую — сосуды и не выдерживают!»

Очкин видел перед собой колодец, почти бездонный, это из него он карабкался так долго и так трудно; наконец, захватил руками край, увидел свет. Да что там все другие беды, что должность, карьера — он будет жить! — вот мысль, которая им теперь владела, и только она, эта мысль, составляла суть бытия и счастья.

Ирина не приходит — тут всё верно и нет ничего удивительного. Она ещё молодец! Пришла в самый трудный час. И на том спасибо. Теперь же... Ну что ж, они чужие, и ему нечего больше ожидать.

Со службы приходили редко — и на сослуживцев не обижался. Не было среди них ни приятелей, ни друзей. Он и на службе, как дома: был ко всем холоден, нёс себя высоко и частенько срывался на крик, бросал в лицо людям обидные слова. Шофёру, опоздавшему к подъезду на несколько минут, однажды сказал: «В другой раз можете совсем не приезжать».

Как ещё его терпели люди?

В первый же день, когда он поднялся и без посторонней помощи гулял по коридору, к нему явился главный инженер. Рассказал о больших переменах: заводы акционируют, рабочих увольняют. В конторах какие-то иностранцы. Чего замышляют — неизвестно.

Перешли в холл для гостей. Главный продолжал:

— Нас, инженеров и техников, сокращают. Я теперь на рынке, помогаю азикам продавать картошку.

— Азики? Кто такие — азики?

— Азербайджанцы. Почти все питерские рынки захватили. Цены диктуют, шкуру дерут.

— А народ?

— Какой народ?

— Ну, люди. Питерцы?..

— Питерцы? Их будто и нет. Народ он... безмолвствует.

Когда к Очкину пришёл Грачёв, сказал ему:

— Я теперь никто. Как это выразился Островский в какой-то своей драме, птицы не имеют денег, а ничего — живут.

Константин посмотрел на Очкина и улыбнулся. Смотрел неотрывно, доверчиво, открыто.

— Костя! Ты зачем ко мне ходишь? Ну что я тебе?

— Ты, Игнатъич, опять за своё — зачем да почему. Ну, откуда мне знать — почему? Ты сейчас слабый, как дитя.

— Да уж. Вышла со мной история. Но и то хорошо — не директор я теперь. Гора с плеч. Нервы никто мотать не будет. План, дисциплина... — пусть у других голова болит. Правда, и так можно сказать: крушение карьеры, падение...

— Я тоже падал. Однако, вишь — поднялся.

— У тебя всё проще: бутылка, драки...

— Оно, конечно, просто, да не совсем. Чем была не карьера! На самую верхушку человеческой славы забирался.

— Ах, да... про твое чемпионство забыл. Болезнь память отшибла. Но ты отдушину нашёл — в вине горе утопил.

— Вино прежде падения ко мне прилепилось. Оно-то и потащило в пропасть. С тобой та же история! Вино и тебе разум помрачило. Совесть ты водкой приглушил. Пил-то побольше моего. И подольше. Совесть-то и притомилась.

— Ну, пошёл воспитывать. Статей начитался.

— Статьи учёные люди пишут.

— Шарлатаны — тоже.

— Случается, и шарлатаны. Но чаще — учёный люд, те, кому сказать есть что и кто не только о себе печётся. Я про вино уйму статей прочёл. И сейчас вот — видишь... в библиотеке был. Вот они, выписки из статей, книг, брошюр.

— Зачем они тебе?

— Лекцию готовлю для студентов. Бурлов предложил.

— Тебе?

— Да, мне.

— Но ведь ты сам недавно...

— Потому и предлагает профессор. Он вступительное слово обо мне скажет. Вот, мол, друзья хорошие, недавно сей молодец и сам зашибал, а теперь он, можно сказать, с того света явился.

Очкин взял у Грачёва папку с журналами, стал листать.

— Бюллетени ВОЗ...

— Да, Всемирная организация здравоохранения. По совету Бурлова штудировал. Тут сведения не только одной нашей науки, но и зарубежных. Хочешь, на пару дней оставлю тебе?

— Поздно, Костя, трезвенника из меня делать. Да и к чему? Мне теперь без вина не обойтись. Жизнь меня круто качнула, к рюмке пуще прежнего потянуло. Ты бы мне коньячку принес. Впрочем, ладно, погожу с этим. Оставь папку, посмотрю на досуге. Раньше-то я статей о пьянстве не читал.

Сначала Очкин читал выписки без разбора — на глаза попала, прочёл.

Эсхин — древнегреческий оратор — сказал:

«Опьянение показывает душу человека, как зеркало отражает его тело».

Невольно приходили на ум комментарии: «Ну, да — понятное дело: под воздействием вина беседа идёт веселее. Мы, деловые люди, к примеру, затем и пьём. Легче договориться. К тому ж, души навстречу друг другу раскрываются — ты ему расскажешь свои тайны, он — тебе. Мудрец Эсхин верно подметил. Впрочем, наш русский простой народ об этом же говорит: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

А вот длинная цитата из «Отверженных» Виктора Гюго:

«Три вида паров — пива, водки и абсента — ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа, этот небесный мотылек — тонет в нём; и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает смутные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры — Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей».

Мудрено сказано, однако возразить трудно. «Три вида паров...» У нас просто говорят: ёрш! Я ещё мальчиком, когда в партизанах был, пробовал. Голова от боли чуть не разломилась. Гадость, конечно — что и говорить! А что — он, наверное, прав? Пьющий человек, он в правду... У него душа черствеет, в нём ни жалости, ни понятия чести. Словом, как говорит Гюго — тройной мрак!»

Дальше читал:

Бездумные авторы или по неведению пишут:

«Нам, существам разумным, нужен хмель... Напейся ж пьян, читатель дорогой».

«Пел, будто пил вино...»

Хмыкнул Очкин, покачал головой: «А ведь и я... в разряде бездумных».

Цитата из «Волгоградской правды»:

«Виновник — традиционный для страны (Франции), подарившей миру пенистое шампанское, аперитив перед обедом, стакан вина за ужином, кружку светлого пива после окончания рабочего дня. Невинные, на первый взгляд, вещи, ставшие обязательным атрибутом жизни среднего француза — весельчака дядюшки Дюпона.

...пристрастие к спиртному отравляет каждый год 40 тысяч французов... 2 миллиона — хронические алкоголики».

Раз прочёл цитату, другой раз... Не по себе стало Очкину. «Обо мне речь, о культурном винопитии. Неужели... и меня затягивает? И я становлюсь хроническим алкоголиком?»

В холодный пот бросило от такой догадки. Вот и он, Грачёв, говорит: «От многолетних возлияний не та уж стала совесть, и весь ты переменялся. Теперь бы с автоматом и пашкой тола не пошёл бы рвать рельсы».

А что? Ведь если, положила руку на сердце: разве прежде, двадцать лет назад, завёз бы на дачу со своих складов калиброванные бруски?

Читал долго — час, другой. Дивился усердию Грачёва: «Надо же! Сколько литературы перечитал. Да после такого потока информации пить не захочешь. И я, пожалуй...»

Бросил на тумбочку папку, лежал на спине, смотрел в размытое на стене пятно поверх двери. Слышал, как часто, упруго бьётся сердце. «Прав Грачёв! Не один он так думает, а все они... и те древние мудрецы. Люди давно наблюдают... Пытливые умы, честные сердца — все те, у кого развито гражданское чувство, кто есть добрый сын своего народа, страны,— они заметили, они предостерегают. Сквозь годы и века слышен их голос».

Очкин снова взял папку, но не мог больше читать грачёвских выписок — казалось, каждая строка в них адресовалась ему, Очкину, обличала и убеждала в правильности Костиного заключения: «...не та уж стала совесть, и весь ты переменялся». Внутренний голос Очкина, его пошатнувшаяся, но ещё пылавшая в душе совесть, остатки бывшего рыцарства кричали: «Грачёв прав, он прав, прав, прав...» Вспоминал себя прошлого, анализировал поступки настоящего — все правы, все авторы статей, и мудрецы, и он, Костя Грачёв — этот бесхитростный, простоватый, а в сущности умный и сильный человек. «Да, да,— соглашался Очкин,— жизнь Кости сложилась драматично, он пил, буянил, но он сумел одолеть пагубную страсть. Он побеждал боксёров на ринге, теперь победил себя. И, может быть, это самая важная и самая большая его победа. Теперь он старается помочь другим.

Очкин снова протягивает руку к папке.

«Я ещё почитаю. Я прочту все выписки. Да если и вправду все от вина и водки — зачем же отравляться? И разве у меня нет такой воли, как у Кости? Мы ещё посмотрим, кто на что способен!»

— Ходить! Больше ходить! — приказал профессор.

«Ходить, двигаться, но только не ослаблять внимания к состоянию сердца и всего организма»,— говорит обыкновенно профессор Бурлов больным, врачам, ассистентам, а если читает лекцию студентам, разовьёт свои мысли, скажет о биологической природе человека, его извечном состоянии движения: убежать, догонять, искать пищу. В заключении скажет: «Проверил на себе, знаю: когда мне плохо, случится стресс, засосёт, занует сердце — иду на прогулку. В другой раз хандра накатит, тоска охватит с ног до головы — я тогда за письменный стол сажусь, вспоминаю пишу или статью научную. Тоже полегчает».

Другая школа повторяет старые догмы: расслабьтесь, забудьте, постарайтесь заснуть.

Очкин ходил. По коридору, недалеко — тихо и осторожно; вперёд пройдёт, назад вернётся. И так несколько раз. Потом отдыхал.

На тумбочке лежали записки к будущей лекции Грачёва, они тянули, как магнит, будоражили мысли. Изумляло, обескураживало открытие: Грачёв и кладёшь мысли! Нашёл книги, раскопал.

Имя Грачёва, сама его фамилия была для Очкина синонимом чего-то ненадёжного, пустого. Долгие годы Очкин копил неприязнь к нему, вырабатывал, может быть, помимо своей воли, флюиды неприятия, биологической несовместимости с человеком, путавшимся у него под ногами. Нельзя было отшвырнуть, но и терпеть не мог. Встречал брезгливой миной, кидал пятёрки, словно подталкивая в пропасть. И вдруг: трезвый человек, лучший слесарь-сборщик и теперь вот ещё — энтузиаст, вознамерившийся бороться с пьянством.

«Сидел в библиотеках, архивах — словно настоящий учёный!» — думал Очкин, лёжа у окна на своей койке и каждой клеткой чувствуя близость папки с бумагами Грачёва.

Очкин снова взял папку, отвернулся к стене. Читал.

Вспомнил чью-то фразу: «Книги и статьи о пьянстве читают кто угодно, только не пьяницы».

Можно не верить одному человеку, позволительно спорить с Грачёвым, даже с профессором Бурловым, но нельзя опровергать всех, тем более поэтов, учёных, признанных авторитетов. Сильный от природы, бывший когда-то глубокий и смелый ум Очкина, не желавший мириться с логикой страшных истин, цеплялся за последнее: я пил понемногу, не был пропойцей, но и этот аргумент рассыпался под тяжестью собственных же наблюдений над собой. Вспоминал себя молодым: он был совершенно другим человеком. Он где бы ни был — оставался самим собой: спорил, доказывал, утверждал. Во всём была своя линия — он защищал её, бился без оглядки. И ходил прямо — не горбился, не прятал глаза. Смеялся! Да, да — и смеялся! Теперь уж не помнит, когда он смеялся последний раз.

И с болью в сердце, с мужеством, оставшимся от прежнего Очкина, он мысленно заключал: я стал другим, несомненно: однако же не всё потеряно, и я ещё найду в себе силы начать новую жизнь.

Местная власть не нашла криминала в действиях Очкина — оставила за ним дачу. На собрании акционеров директором избрали Веру Михайловну. Об Очкине сказала: «Михаил Игнатьевич — талантливый организатор производства, крупный инженер, мы найдём ему работу по его знаниям».

Как раз в эти дни Грачёв оформил отпуск и жил безвыездно на даче.

В школах наступили каникулы, и с Грачёвым неотлучно жили Роман и Юрий. На новом «жигулёнке», недавно купленном Грачёвым, они мотались по городу, закупали рыболовецкие снасти, запасные части для катера, искали плиту, колосники и прочие предметы для бани, которую решили построить тем же летом на усадьбе.

На третий день отдыха, закупив очередную партию нужных вещей, поехали в клинику профессора Бурлова. В палату к Очкину вошли все втроём. Очкин уже знал ребят и был рад их появлению в день выписки.

По обычной своей манере сурово глянул исподлобья на Грачёва, спросил:

— Ты чего всем семейством?

— За тобой приехали. Вот ребята тебе кабинет прибрали, в дом теперь газ подвели. И плита, и отопление — всё газовое. Живи, радуйся!

Не хотел Очкин показывать радость, хлынувшую в душу от этих слов; склонился над выдвинутым ящиком, складывал в сумку бритву, помазок, зубную щётку, мыло.

Хотелось сказать Грачёву и ребятам слова любви и благодарности, но Очкин отвык от проявлений нежности, не знал, как это делают, считал их неуместными.

Робко, украдкой кидал на ребят взгляды, полные нерастраченных отцовских чувств, слышал, как гулко бьётся уставшее от болезни и многих испытаний сердце, и ниже склонял голову, по привычке что-то выговаривал Грачёву.

Затем они ехали по солнечному, ярко и нарядно светившемуся Каменноостровскому. Десятки раз проезжал и проходил тут Очкин в своё время, знал дома, дворцы, вывески на магазинах, ворота, заборы. Но никогда ещё дома и дворцы не бежали так весело навстречу, не разворачивались так кокетливо и красочно — чудилось ему, что всё в природе: и солнце, и небо, и город — радовалось его выздоровлению.

На даче, едва выйдя из автомобиля, почувствовал слабость, лёгкое кружение и звон в голове — то ли от избытка кислорода, то ли от волнения. Чтобы не упасть, он присел на лавочку у калитки. Вспомнил, как бранил Грачёва, делавшего эту лавочку за воротами; для уставшего путника, по русскому обычаю.

— Вам плохо? — крикнул Костя, хлопоча у багажника, раздавая ребятам сумки, узлы, инструмент. Он теперь покупал разный инструмент, говорил: «Мы будем много строить — и всё сами: гараж, баню, крыльцо, наличники...» Мечтал ребят приобщить к физическому труду, научить столярному делу.

— Не беспокойся,— сказал Очкин, когда Грачёв, навьюченный сумками, проходил мимо.— Кружится голова. Ничего. Пройдёт.

В голосе Очкина, в тоне, каким он говорил, не было ничего от былой раздражительности. За время болезни, под ударами судьбы, он словно бы отмяк, оттаял и смотрел, и говорил как человек, только что вернувшийся из дальней и опасной дороги и теперь радующийся людскому теплу и привету. Он уже не дивился простоте и радушию Грачёва, его непонятному расположению к нему, Очкину; «такой он человек»,— сказал однажды Очкин и тем положил предел смущавшим душу размышлениям.

Надышавшись вольного воздуха, Очкин поднялся, прошёл в кабинет. Тут было чисто. И книги, и письменный стол — всё в порядке, всё так, как он задумывал много лет назад, приступая к строительству дачи. Только теперь на душе было пусто, и всё самое важное, чем он жил — работа, семья, планы на будущее — лопнуло, как мыльный пузырь, и даже следа от прежней большой и яркой жизни, казалось ему, не осталось. «Много ли он проживёт со мной?» «Он» — это Грачёв, большой и сильный человек, уверенно и смело идущий по жизни, дающий руку другим — ему, Роману, Юрию...

И всё-таки странный. «Мы будем много строить»,— сказал ребятам. На чужой-то даче! «Пусть строит. Я его не обижу».

Мысль на мгновение унеслась вперёд, в будущее. Как разойдётся с Грачёвым? Костя вложил столько труда,— дом отстроил, и каждое деревце, каждый кустик посадил, вынянчил.

А зачем расходиться? Таких людей, как Костя, если встречают в жизни, то не бросают. Ему дадут квартиру, а сюда пусть ездит на дачу — всегда, всю жизнь. И когда женится — семьёй, с детьми. Чем же плохо? Да с таким-то человеком — горя не будешь знать.

И тут же корил себя: «Все я, я, о себе... Подумай о нем, о них — о других. Что ты за человек, Очкин!»

Тревожно, беспокойно становилось от таких мыслей.

Профессор, выписывая его, сказал: «Вам нужен свежий воздух, хорошее питание и положительные эмоции. О работе не думайте. Ваш организм сильно ослаб, два-три месяца нужно отдыхать».

Открыл окно и лёг на диван. Рядом на столике, украшенном яркой росписью хохломских мастеров, стояли магнитофон, проигрыватель. Нажми клавишу — польётся музыка — любая, по желанию. Тоже мечтал и об этом. Но теперь ему хотелось тишины.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

За окнами дачи шумел холодный ноябрьский ветер, где-то далеко, словно под землей, падали и поднимались водяные валы — Финский залив с извечной яростью боролся со студёными ветрами — посланцами злой и далекой Арктики. Мощные заряды влаги валили на северный край нашей земли; весной и осенью дождь сменялся снегом: мокрый и липучий, шлепал он по лужам воды и грязи, но всё это за окнами и стенами дачи. Тут же, в просторных комнатах первого и второго этажа, раздавались веселые голоса людей, негромко лилась мелодия Глинки. И звон посуды, и смех Романа и Юрия: они весь нынешний день готовили угощения, а тут с нетерпеливым ребяческим задором, споря друг с другом и соревнуясь, накрывали праздничный стол.

Костя из своей комнаты звонил Галине. Он с того первого визита к ней на дачу два или три раза звонил ей, она говорила любезно и вроде бы охотно и сердечно, приглашала во Дворец спорта и на дачу, но Грачёв эти приглашения воспринимал как дань вежливости и всякий раз уклонялся от встречи. Слышал затаенную обиду в её голосе, тайный, скрытый упрёк и даже грусть, и жалобу, и мольбу, но не мог себе объяснить природу женских затаенных желаний. Пробовал говорить о Вадиме — не хотела слушать, тотчас же переменяла тему.

«Она меня любит. Что, если у неё любовь, а я, как дурак, гоню от себя эту мысль?»
Галя казалась ему совершенством, он испытывал к ней чувства, которым не знал названия. Слова «любовь» боялся: они неравны во всём. Слишком далекой и призрачной могла оказаться мечта о ней, если бы он забрал эту мечту в голову.

Любил он Ирину. Казалось, жизни без неё нет, а вот живёт, и — ничего. Без Гали тоже живёт, но сердце от тоски разрывается. И образ является не иначе как освещённый ярким светом, в блеске огней, в гуле нестихающих аплодисментов. Но это можно понять. Он и увидел её в момент необычный; тут не один только он, а и все, кто её видел, любовались ею. Да и как не любоваться гимнасткой, которая, как он узнал позже, получила серебряную медаль на первенстве Европы. Гимнасткой, о которой газеты наперебой писали: «Любимица... покоряет мастерством...» А одна газета сообщила: «Только досадная случайность помешала ей выйти на первое место». Но если бы статьи и заметки писал он, Грачёв, он ещё сказал бы о её обаянии, о том, как она хороша собой, и как прекрасны её лучистые, детски-простодушные и чуть-чуть насмешливые глаза. Всё так, всё так. Но мало ли на свете прекрасных женщин! И ещё больше девушек, свежесть и юность которых уже сами по себе притягательны. Недаром говорят в народе: «Руби сук по себе». Хорош бы он был, если бы вдруг воспылал к ней любовью да ещё объявил бы ей об этом. «Нет, нет, эту мысль надо теперь же выбросить из головы и не смешить белый свет». И всё-таки он позвонил. Услышал её звонкий и как будто радостный голос:

— Константин Павлович! Здравствуйте! Я сразу узнаю вас. Долго не было вашего звонка. Нехорошо забывать друзей.

Ровно и спокойно льётся чудная, греющая душу речь.

— Вы, наверное, встречаетесь с женщиной и вам не до меня; я вас ревную. Смотрите, не надо обижать бедную, одинокую девушку, которая вас любит. Звоните только мне и приходите в гости только ко мне, а не то я пожалуюсь папе и он вызовет вас на дуэль.

— Я хотел пригласить вас на маленькое семейное торжество. Если вы желаете, заеду за вами.

— Прекрасно! А можно пригласить и папу?

— Конечно, конечно, мы все будем рады.

Грачёв завёл машину и поехал за Галей и её отцом.

Гостей было много; приехала Вера Михайловна и с ней Ирина. На «жигулёнке» подкатили — Варя и Саша Мартынов.

Галю не надо было представлять, её все знали, отца же её, человека с виду скромного и даже робкого, приняли тоже как своего, почти семейно близкого. Пожимая руки, он назвал себя:

— Василий Поликарпович.

Одет он был в серый костюм — недорогой, но добротный. И редкие светлые волосы, и приветливая улыбка — всё выдавало в нём человека простого, но вместе с тем внимательного и пытливого.

Галя в длинной обуженной юбке, на плечах накидка — белого меха, без воротничка и пуговиц. Пошла на кухню помогать женщинам.

Константин повёл Василия Поликарповича к себе в комнату.

Саша помогал ребятам накрывать стол, а Варя поднялась в кабинет к отчиму. В первую же минуту сообщила новость:

— Вера Михайловна получила разрешение из министерства назначить тебя начальником цеха. Того, ну, где работают папа и Александр.

— Ты откуда знаешь?

— Мне рассказал Саша.

Проговорила тихо, склонив над письменным столом голову. И затем, стараясь быть твёрдой, сказала:

— Михаил Игнатьевич! Мы с Александром хотели посвятить вас в свою тайну: мы помолвлены.

— Как это?.. Не понимаю.

— А так: пошли в церковь, и там, перед иконой Божьей матери, дали друг другу клятву: по достижении моего совершеннолетия стать мужем и женой.

— А разве это так делается?

— Не знаю, но мы сделали так. А теперь вот вы... Вас посвятили.

— А мама? Отец?

— Папе скажу, а маме — боюсь. Не поймет, ругаться станет. Она получила кафедру в институте и стала очень важной.

— Ну-у... не думаю. Раньше ведь так и было. Задолго до свадьбы становились женихом и невестой.

— Нет! — решительно заявила Варя.— Маме не скажем. И Саша не хочет. Вот вам сказали.

Варя сидела на стуле прямо, и голова с распущенной по спине косой была высоко поднята, неподвижна, будто перед фотоаппаратом девушка ждала заветного щелчка. И взгляд её серых миндалевидных глаз тоже был неподвижен. «Сколько ей лет? — думал между тем Очкин, не в силах поднять на неё взора.— Недавно исполнилось семнадцать, а как выросла. Впору хоть сейчас замуж».

Вошёл Александр и сразу понял, что тут происходит. Подсел с другой стороны стола. И тоже смело, решительно заговорил:

— Благословите нас, Михаил Игнатьевич. Любим мы друг друга с Варей, хотим пожениться.

— Так рано ведь.

— Да, рано, мы знаем. Будем ждать. Но пусть знают люди: мы клятву дали. У нас на Руси испокон века так — невесту загодя выбирали.

— Что ж, если любите — поздравляю, а благословение отец с матерью дадут.

— Ты тоже не чужой,— сказала Варя, взяла его за руку, поцеловала в щёку.— Много лет мы жили, и ничего плохого я от тебя не знала.

Заблестели глаза Очкина; давно не слышал сердечных, ласковых слов, отвык от проявлений нежности.

Серьёзно, почти торжественно проговорил:

— Желаю счастья вам, ребята. Сейчас многие семьи распадаются. Говорят, от женского равноправия это идёт. Драма для детей и для самих супругов. Помогите вам Бог сохранить свой союз до конца жизни.

Снизу позвал Грачёв:

— Эй, вы там, верхняя колония — кушать подано!

Очкин, увидев Галиного отца, оторопел, и, словно солдат, опустил по швам руки. Склонился в почтительной позе.

— Василий Поликарпович? Вы?

Очкин взглянул на подошедшую Галю.

— Да, я вот её папаша... с вашего позволения. А вы?

— Я в некотором роде тут живу. Очень рад такому гостю. Милости прошу к столу.

Вера Михайловна, завершавшая сервировку стола и бегавшая на кухню, спросила стоявшую у плиты Ирину:

— Кто он — Ивлев?

— Академик, Генеральный конструктор космических систем — он сейчас возглавляет какой-то центр. У вас распространяет заказы.

Вера Михайловна вспомнила, как ещё в бытность свою мастером выполняла заказы Проектно-конструкторского центра — там начальником был специалист по космическим приборам, в прошлом научный эксперт в Америке. Заказы шли вне очереди. Боже упаси, допустить в них брак! Так вот он и есть этот таинственный и могущественный Ивлев!

Сидели за столом как одна большая, дружная семья. Вчера Вера Михайловна позвонила министру, предложила назначить Очкина начальником цеха. Тот не возражал. И теперь ей бы хотелось сказать об этом Очкину,— примет ли он эту должность.

Поднялся Грачёв, обвёл всех взглядом.

— Мы закончили строить дом и позвали вас на новоселье.

Все громко захлопали и заговорили разом. Был тот редкий случай, когда все за столом — от мала до велика — были одинаково счастливы; у каждого в жизни уже или совершилось или совершалось что-то значительное и радостное.

Потом говорил Ивлев.

— Друзья! — начал он.— Позвольте засвидетельствовать: впервые за свою жизнь я сижу за праздничным столом, где нет спиртного. И, следовательно, не будет пьяных. Событие неожиданное, необыкновенное и по своему значению превосходит все самые смелые космические победы, которым я был свидетель. Говорю это вполне серьёзно, потому что начало, которое вы здесь кладете, знаменует новую эпоху в жизни нашего народа. Сейчас у него нет более важной задачи, чем освободить себя от пьяного дурмана. Хочу надеяться, что в общемировом походе за трезвость наш мудрый, прозорливый народ займёт место в голове колонны и поведёт за собой все другие народы. Словом, выполнит ещё одну великую миссию и тем окажет неоценимую услугу человечеству.

Полагаю, вы не станете осуждать меня за столь высокие слова; я не сторонник выпретенных выражений, но в данном случае перед нами предмет, для которого никакие другие слова не подходят. Пью за ваше здоровье и пью не яд, не наркотик, а живительный мандариновый сок.

Все дружно захлопали. И громче всех Роман и Юрий.

Константин был на седьмом небе; новая философия жизни, его идея абсолютной трезвости для себя и для своих близких находила благотворный отзвук в сердцах друзей.

По выходным дням на даче Очкина всё чаще собирались друзья. Приезжали Вера Михайловна с Александром, навещала мать Варя. Иногда приезжала Галя. Весел, со всеми приветлив был Очкин. К Вареньке относился по-прежнему как к родной, и даже теплее. И все вместе с трогательной заботой пестовали Юрия и Романа, наперебой старались утвердить своё исключительное право воспитывать ребят.

Карвилайнен вернулся из гастрольной поездки за рубеж, но Ада Никифоровна ещё находилась в больнице. Через месяц-другой врачи обещали её выписать. Роман же продолжал частенько навещать дядю Костю.

Раз в такой праздничный день, позавтракав, все ушли загорать на залив, и только Грачёв остался прибирать посуду да сделать заготовки к обеду. В окно увидел: к калитке подъехала Галя. Вбежала в дом, но на пороге вдруг остановилась. Озарённая решимостью, смутилась и стояла, как девчушка, забывшая что-то очень важное, и не смела поднять глаз. А Костя глядел и не нагляделся бы на это чудо. До сих пор он не мог поверить, что отношения её серьёзны, что она любит его и готова выйти за него замуж. «Надо объясниться. Мужчина я или тряпка?»

А она, будто прочитав его мысли, тихо произнесла:

— Ну, почему, почему вы не говорите мне о любви?

— Если бы я смел... Если бы я был достойнее, во сто крат лучше. Я бы сказал, что вы само совершенство.

Шли на залив и ничего не видели вокруг, пока не наткнулись на человека, одиноко сидевшего на камне. То был Георгий. Зажав голову руками, он вздрагивал всем телом,— кажется, плакал.

— Георгий, ты чего?

Георгий поднял голову: красные, заплаканные глаза, бледное, отёкшее от пьянства лицо.

Галя отошла в сторону, села на валун. Смотрела на море, но хорошо слышала разговор приятелей.

Георгий говорил:

— Извини, пришёл вот... поглядеть на твоих ребят. Семья, что ли, объявилась? Сыны у тебя. Ты будто о них не говорил.

Грачёв сел рядом, зажёб ладонью камушки. Георгий продолжал:

— А мои — сироты. При живом-то отце.

Он всхлипнул, из груди вырвалось рыдание.

— Третий день капли в рот не беру. О тебе думаю: ты вот сумел, одолел, а я что ж, хуже, что ли, тебя? Я ведь начальником цеха был.

И, минуточку спустя:

— Нет, Костя! Сил моих не хватает. Сегодня снова напьюсь. Дай пятёрку — не могу больше. Пожар внутри, огнём изойду.

Грачёв будто не слышал просьбы, заговорил степенно, не торопясь:

— Правильно решил. Кончать надо с ней, проклятой. И возвращайся домой. Ждут тебя дети. И жена ждёт.

— Тоже — сказал. Ждут! Зачем я им такой? Рот лишний.

— Работать пойдёшь. К нам в цех, в одной бригаде будем.

Не сразу отозвался Георгий. Пытливо, с загоравшейся изнутри надеждой, смотрел на друга.

— Ты это серьёзно?

— Вполне. Вот сегодня же попрошу начальника цеха — он тут где-то, с моими загорает.

— Вон они — сидят! — показал Георгий на три куста, за которыми в тени укрылась компания Грачёва.

— Ну вот — и хорошо. Пойдём.

Георгий легко поднялся, схватил в охапку одежду. Его приглашали к порядочным людям. Знакомясь, Георгий пожимал каждому руку и тихо, словно бы опасаясь кого напугать, называл свое имя.

Грачёв, отозвав в сторону Александра Мартынова, ска- зал:

— Возьмём в бригаду? Ты, помнится, говорил о третьем человеке.

— Пьяница? — спросил Александр.

— Да, но надо мужику помочь.

— Под твою ответственность. Проси Очкина. Но — помни: придёт на работу под хмельком — выгоню!

С Очкиным было ещё проще:

— Вам работать — берите.

Георгий обрадовался, хотел куда-то идти, но Константин потянул его за руку:

— Будешь жить со мной. Месяц или два — пока не привыкнешь к трезвой жизни. Я за тебя поручился. А пока загорай.

Был тот редкий, счастливый день, когда ленинградцы вполне могли насладиться теплом и солнцем. На заливе тишина, вода сверкала рябью серебра и золота. Люди купались.

Галя разделась, и все невольно любовались её точеной, идеально правильной фигуркой. Красота ног, рук и шеи подчеркивалась прямой, как у балерины, спиной, грациозностью движений. Она выбрала ровную, зализанную водой площадку, пробежалась и вдруг описала в воздухе невообразимый пируэт. И замерла. И повернулась к идущему сзади Грачёву. И что-то сказала, но слов её он не расслышал: за спиной вдруг раздались дружные аплодисменты. Костя сказал:

— А вы озорница!

— Люблю озадачить. И — удивить!

Подхватив Грачёва под руку, ускорила шаг. Когда они отошли довольно далеко, Галя вошла в воду.

— Если буду тонуть, вы меня спасёте. Я хочу, чтобы вы меня спасали.

— А я не хочу, чтобы вы тонули.

Галя далеко не поплыла. В Финском заливе напротив поселка Комарово далеко от берега тянется мелководье. Тут и там лежат осклизлые, зеленовато-серые камни, будто какой-то великан, рассердившись на море, побросал их в воду. Галя подходила то к одному камню, то к другому, стояла по грудь в волнах. Возле большого камня задержалась. Сказала:

— Я уйду из спорта.

— Совсем? Навсегда?

— Навсегда.

— Но, может, станете тренером?

— Нет, не стану. Не люблю так. Уходить, как умирать — ух, и нету!

Она засмеялась. И взгляд её детски-чистых глаз наполнился грустью.

— Все проходит. Спорт — тоже.

— Но вы достигли такой высоты...

— Да, у меня были надежды. Теперь их нет. А на вторых ролях — не хочу.

— Почему теперь? Что произошло?

Галя повернулась к нему, смотрела в глаза, потом взяла Костю за руку, прислонилась к его плечу.

— Я вас люблю,— сказал он ей на ухо.— Очень...

Она теснее к нему прижалась. Он продолжал:

— Но я уже не молод. А вы такая юная. Я в прошлом пил, попадал в милицию.

— Это скверно, ужасно, что вы пили. Но это позади. И я в вас верю, как в себя. Пить вы никогда не будете.

Нежно прикоснулась к нему щекой:

— Я люблю тебя. Люблю... Это так хорошо, что мы встретились. У меня будет муж чемпион мира. Я буду гордиться вами.

Грачёв улыбнулся. Привлёк её, поцеловал.

Они объявили о своем решении отцу, получили благословение и стали встречаться часто, почти каждый день.

Тренировки Галя бросила. Она ни с кем не советовалась, решила сама: со спортом покончить. Устроилась на курсы помощников мастеров при производственном объединении «Светлана». В Америке она кончила технологический колледж, здесь подтверждала диплом инженера.

Костя получил письмо от Вадима:

«Дорогой брат!

В Ленинграде всё было хорошо, я прошёл отборочные соревнования и готовился занять призовое место, может быть, как ты, стать чемпионом, но судьба рассудила по-своему. Я выпил, кого-то задел на улице и попал в милицию. История банальная, помнится, и ты в такую попадал. Но как раз в это время у нас пошли большие строгости с пьянством и командование решило на мне отыграться. Ударим, мол, одного — другим будет неповадно. И ударили. Я вылетел из армии и очутился на воле. Хорошо тренер по боксу взял меня в ассистенты, сказал: «Не будешь пить вовсе — и сам станешь тренером».

Мы с ним поедem по городам, будем работать в Ярославле, Барнауле, Тюмени, Белогорске, что на Амуре, и доберёмся даже до Чукотки.

Ты и весь свет считаете меня пьяницей, а я им никогда не был, пью в меру, не больше, чем другие.

Жду от тебя письма, может, что посоветуешь.

Твой Вадим».

В тот же день Костя послал ответ брату. Вот что он писал:

«Ты меня уверяешь и всех других тоже, что пьёшь в меру, ”не больше, чем другие“. Но дело не в том, сколько пить, когда пить и с кем пить, вопрос нужно ставить так: пить или

не пить. ”Есть ситуации,— говорил ты мне во время наших бесед на эту тему,— когда нельзя не выпить“. Да, такие ситуации есть, но только для тех, кто допускает саму мысль о винопитии, считает это занятие нормальным, разумным, и пьёт по убеждению. Ты просишь моего совета — вот он: не пей! И выброси из головы саму мысль о допустимости винопития. И тогда вся жизнь для тебя переменится, ты вырастешь в глазах других. Непомерно вырастешь! — даже во мнении вчерашних собутыльников. Твой поступок обретёт силу примера, поднимется до степени акта гражданского значения. Что же до женщин, то для них в мужчине одно только качество — трезвость — способно искупить многие другие недостатки. Трезвый мужчина для них олицетворяет силу и надёжность. Женщина инстинктом матери чувствует в нём опору и защиту для будущей своей семьи.

В городах, в которых ты будешь, есть замечательные специалисты по отрезвлению. Вот они: в Ярославле — Петр Иванович Губочкин; в Барнауле — Надежда Ивановна Шестакова, Ольга Михайловна Свирцова; в Тюмени — Зимфира Мидхатовна Юсупова, Лариса Алексеевна Пашнина; в Белогорске — Николай Трифионович Дегтярев, а в Анадыри крепкий союз ”Трезвая Чукотка“ сколачивают Валерий и Лариса Выквырагтыргыргины.

Постарайся встретиться с кем-то из них и пройти весь курс, который они тебе предложат. Метод Шичко — надёжен и проверен временем.

Подумай об этом, дорогой братишка. Ты один у меня остался из родных, и я не могу желать тебе плохого. А за категоричность совета прости; я в жизни многое изведаль сам, и мои прошлые потери, может быть, дают мне некоторое право советовать, тем более родному брату».

Два месяца Георгий жил на даче Очкина. Вместе с Грачёвым ходили на работу, в кино, а в день зарплаты шли на квартиру Георгия. Он выкладывал жене получку, оставлял себе на еду и дорогу.

Денег получал много — в бригаде Георгий хоть и был учеником, но все работали в один наряд, получали поровну. Попервости дрожали руки, ничего не умел, Александр и Константин учили, терпеливо ждали, когда из человека выйдет накачаный в организм за несколько лет пьянства хмель. Руки становились крепче, появлялась сметка и рабочая цепкость. Очкин, проходя по участку, замедлял возле Георгия шаг, наблюдал за его работой. Он один понимал тайный замысел Грачёва: победить в очередной схватке, вырвать из пасти хмельного чудища ещё одну жертву.

Себя Очкин считал первой жертвой; и хотя ему было совестно сознавать себя жертвой, но своим сильным аналитическим умом он мог заключить: и он катился к роковой черте, и уж с ним свершилась катастрофа, но Костя — единственный из людей! — подал ему свою сильную руку, и он устоял.

Устоит ли этот бедолага?

Очкину хотелось, чтобы устоял.

Как-то тайком заговорил с Георгием:

— Как дела, новичок?

— Ничего, налаживаются. Спасибо вам, Михаил Игнатьевич,— вот им, Александру и Косте спасибо, и вам.

— Ничего, ничего, трудитесь. Я помню, что вы — инженер, были начальником цеха; если у вас и дальше пойдёт так же, посмотрим, переведём.

— Благодарю, Михаил Игнатьевич.

— Только — того... спиртного — ни-ни! Ни грамма!

Георгий покраснел, опустил голову. Этого Очкин мог не говорить. Но Очкин сказал. Протянул руку, добавил:

— Простите за грубое назидание. Но больно уж страшна она, химера эта. Того и гляди — подножку даст.

Говорил Георгию, думал о себе. С тех пор, как вышел из больницы, он и капли не брал в рот спиртного. И боялся, как бы снова не начал попивать. Очень уж многое открылось ему, трезвому. Голова всё время светлая, сон крепок, взгляд ясен и добр. Ярко и весело засветились все краски жизни. Вот теперь бы ему сойтись с Ириной. Как бы он любил её, как бы жалел и нежил.

По-новому смотрел он теперь и на трезвенническую деятельность Грачёва, на его лекции по путевкам общества «Знание», на его проповеди и беседы. Тепло и хорошо было на сердце, он искренне желал успеха Константину.

И жили они все вместе на даче; формально Очкин был хозяином, но и сам он, и все обитатели большого двухэтажного дома относились к Грачёву, как к старшему — выказывали всяческое уважение, старались услужить; он был центром, магнитом, вокруг которого всё крутилось.

Однажды Костя сказал Очкину:

— Георгий от нас уходит. Не из цеха, а отсюда, с дачи. Он сам просится домой, и жена его меня заверяет.

— Как бы того... не ударился в загул.

— И я опасаюсь. Но тут уж... чему быть.

— Проводили Георгия до его дома. Сидели вчетвером, пили чай. Детей не было, они уехали в зимний лагерь на каникулы. Надежда, жена Георгия, сияя от счастья, говорила:

— Спасибо вам за мужа, за меня, за всех нас. В дом счастье вернулось; мы теперь как все люди. И дети ожили, учиться лучше стали.

И Очкин, и Грачёв на хозяйку не смотрели, чувствовали себя неловко. Константин знал силу зелёного змия: чуть какая неприятность — снова ухнет в загул, как в колодец.

Под Новый год Костя зашёл к Назаренко, подарил детям настольную железную дорогу. Георгий обнял друга, сказал:

— Ты, Костя, за меня не тревожься. С пьяным делом завязано крепко. Да, да понимаю: скажешь, много раз говорено. Так оно и было, зарок давал, а в глубине души страх копошился. Держался только потому, что ты в меня поверил. А тут вдруг всё перевернулось. В голове прояснилось. Будто кто-то пелену сорвал. Такое состояние, как после затяжного ненастья небосвод открылся и всё вокруг засияло. И началось это со съезда трезвых.

— Вот об этом я расскажу,— под села к ним Надежда.— Знаете, Костя, рука у вас легкая. Ведь после того, как вы к нам лицом обернулись, и другие люди перестали нам спину показывать.

Как-то еду в электричке, за окном быстро меняются пейзажи. Всё быстротечно,— думаю я. Вот так и моя передышка — промелькнёт и нету. Страшно стало. Да соседка отвлекла, попросила подсказать загодя, как к Репино подъезжать станем. Разговорились мы, вывернула я перед нею всю душу. Взяла она мою руку и положила на ладонь вот этот перстенёк.

— Это камень «оберег» — пусть теперь он вас оберегает.— Сказала и вышла.

Господи, думаю: всё о себе, да о себе, а её даже имени не узнала.

Постой, постой, да ведь в самом начале, с чего и разговор пошёл, она мне сказала: из Якутии приехала на съезд трезвых людей. Во Дворце железнодорожников в выходные съезд откроется. На следующий день в субботу мы и поехали туда.

Я и не думала, что у нас так много трезвых. Со всех концов страны съехались. Полон зал собрался. Выступила и моя якутяночка Валентина Михайловна Кузьмина. Сама ростом невеличка, а за свой народ бьется, как воин.

Там и Георгий во все глаза смотрел и слушал, а в перерыве к делегатам подошёл.

— Ну ладно, Надежда... Это я там с Николаем Январским из Ижевска познакомился. Сильный мужик. Он поди уж не один полк таких бедолаг, как я, на ноги поставил. И меня к себе на занятия пригласил, две книги подарил и дневник посоветовал писать. Вон сколько тетрадей уже исписал. Ты знаешь, Костя, это великолепно. Каждый день

исповедь, как на духу. Теперь-то уж я уверен — напасть эту одолел. Видишь, мы стол накрываем, сейчас гости придут, а вина ни капли не будет. Оставайся с нами.

— Не могу, брат. У самого гости. У нас нынче много гостей. Моя бывшая жена с дочерью будут — с Очкиным они вновь съезжаются. А я и рад; я сам скоро женюсь.

Они обнялись как родные люди.

Домой Костя возвращался счастливый. Поверил в Георгия нынче, окончательно поверил. И ощутил радость от сознания собственной большой победы. В своё время он вытащил себя из трясины — почти самостоятельно. Товарища спас, детям и женщине счастье вернул — это победа. Пожалуй, стоило жить ради одного такого дела на земле.

Новогодняя ночь начиналась тихая, прозрачная. Над поселком, над тёмной полосой прибрежных лесов плыли расцвеченные бледной синью облака, под ногами бодро поскрипывал снежок. От избытка сил, от нахлынувшей радости Грачёв ускорил шаг. Он сейчас испытывал примерно те же чувства, какие являлись ему в молодые годы — в те счастливые моменты, когда он, измотав на ринге противника, переходил в атаку, наносил коронные удары, и — главный из них, решающий, повергавший в нокаут. Знал: судья поднимет его перчатку. И судья поднимал. Поднял он и тогда, объявив рождение чемпиона.

Счастье! Что оно значит, это крылатое слово — счастье? Не здесь ли оно, в этих трудных, мучительных победах над собой и другими.

За поворотом дороги открылся светившийся всеми окнами дом.

1996